Наринэ

АБГАРЯН

С НЕБА УПАЛИ ТРИ ЯБЛОКА

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА СО МНОЙ

ЗУЛАЛИ

Лауреат премии «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Наринэ Абгарян

С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали (сборник)

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

Абгарян Н. Ю.

С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали (сборник) / Н. Ю. Абгарян — «АСТ», 2016

ISBN 978-5-17-102081-1

Эта книга представляет собой первый сборник прозы Наринэ Абгарян: романы «С неба упали три яблока» (удостоен премии «Ясная Поляна» за 2016 год), «Люди, которые всегда со мной», повести и рассказы. О чем бы ни писала Наринэ Абгарян, о безыскусном быте жителей маленькой горной деревни, об ужасах войны или о детстве – все ее произведения говорят о красоте жизни. И о том, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.«На макушке Хали-кара нет места боли. Всё твое – в тебе, всё твое – с тобой. Каменные пороги, заросший травой купол часовни, утренние туманы – низвергающиеся с вершин холмов, словно молочные реки, – вперед, вперед, туда, где можно, подойдя вплотную, заглянуть в окна жилищ.Портрет бабушки в почерневшей деревянной рамке, дом детства, могилы предков на старом кладбище, рыжая деревенская дорога, берущая начало в твоем сердце. На ней следы тех, кто ушел. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Раз, два, три, четыре, пять… Не отъять, не отдать. Все твои – в тебе, все твои – навсегда с тобой».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

ISBN 978-5-17-102081-1

© Абгарян Н. Ю., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Романы 5
С неба упали три яблока 5
Часть I 5
Глава 1 5
Глава 2 19
Глава 3 29
Глава 4 34
Глава 5 45
Часть II 51
Глава 1 51
Глава 2 56
Глава 3 60
Глава 4 63
Глава 5 66
Глава 6 68
Глава 7 74
Часть III 80
Глава 1 80
Глава 2 89
Конец ознакомительного фрагмента. 92

Наринэ Абгарян
С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали

Романы

С неба упали три яблока

Часть I
Тому, кто видел

Глава 1

В пятницу, сразу после полудня, когда солнце, перевалившись через зенит, чинно покатилось к западному краю долины, Севоянц Анатолия легла помирать.

Перед тем как отойти в мир иной, она тщательно полила огород и насыпала курам корму с запасом – мало ли когда соседи обнаружат ее бездыханное тело, не ходить же птице некормленой. Далее откинула крышки стоящих под водосточными желобами дождевых бочек – на случай внезапной грозы, чтобы льющими сверху потоками воды не смывало фундамент дома. Потом она пошарила по кухонным полкам, собрала все недоеденные припасы – плошки со сливочным маслом, сыром и медом, краюху хлеба и половину отварной курицы – и отнесла в прохладный погреб. Вытащила из шифоньера «смёртное»: глухое шерстяное платье с белым кружевным воротничком, длинный передник с вышитыми гладью карманами, туфли на плоской подошве, вязаные гулпа[1] (всю жизнь мерзли ноги), тщательно простиранное и выглаженное нижнее белье, а также прабабушкины четки с серебряным крестиком – Ясаман догадается вложить их ей в руку.

Оставила одежду на самом видном месте гостевой комнаты – на тяжелом, покрытом холщовой салфеткой дубовом столе (если поднять край этой салфетки, можно разглядеть два глубоких, отчетливых следа от ударов топора), водрузила на стопку смертного конверт с деньгами – на похоронные расходы, вытащила из комода старую клеенчатую скатерть и ушла в спальню. Там она разобрала постель, разрезала клеенку пополам, постелила на простыню одну половину, легла, накрылась второй половиной, накинула сверху одеяло, сложила на груди руки, завозилась затылком, удобно устраиваясь на подушке, глубоко вздохнула и закрыла глаза. Следом сразу же встала, распахнула до упора обе створки окна, подперла их горшками с геранью – чтобы не захлопнулись, и снова легла. Теперь можно не беспокоиться, что покинувшая ее бренное тело душа будет потерянно блуждать по комнате. Освободившись, она сразу же выпорхнет в открытое окно – навстречу небесам.

Такие скрупулезные и подробные приготовления имели под собой весьма значительную и печальную причину – вот уже второй день Севоянц Анатолия истекала кровью. Обнаружив на исподнем непонятные бурые пятна, она сначала обомлела, потом внимательно рассмотрела их и, убедившись, что это действительно кровь, горько расплакалась. Но, устыдившись своего

[1] Толстые вязаные носки.

страха, одернула себя и поспешно утерла слезы краем косынки. Зачем плакать, если неизбежного не миновать. У каждого своя смерть, кому-то она отключает сердце, у кого-то, глумясь, отнимает разум, а ей, стало быть, определила уйти от потери крови.

В том, что недуг неизлечим и скоротечен, Анатолия не сомневалась. Ведь не зря он пронзил самую бесполезную и бессмысленную часть ее тела – матку. Словно намекал, что это кара, ниспосланная ей за то, что она не смогла выполнить своего главного предназначения – родить детей.

Запретив себе плакать и роптать и тем самым смирившись с неизбежным, Анатолия на удивление быстро успокоилась. Порылась в бельевом сундуке, извлекла старую простыню, разрезала ее на несколько частей, соорудила некое подобие прокладок. Но к вечеру выделения стали такими обильными, что казалось – где-то внутри у нее лопнула большая и неиссякаемая вена. Пришлось пустить в ход те малые запасы ваты, которые хранились дома. Так как вата грозилась вскорости закончиться, Анатолия распорола край одеяла, вытащила оттуда несколько клоков овечьей шерсти, тщательно ее промыла и расстелила сушиться на подоконнике. Конечно, можно было сходить к живущей по соседству Шлапканц Ясаман и попросить ваты у нее, но Анатолия не стала этого делать – вдруг не удержится, расплачется и расскажет подруге о своей смертельной болезни. Ясаман тут же всполошится, метнется к Сатеник, дабы та отправила в долину молнию за каретой скорой помощи… Разъезжать по врачам, чтобы они мучили ее болезненными и бесполезными процедурами, Анатолия не намеревалась. Решила умереть сохраняя достоинство и умиротворение, в тишине и спокойствии, в стенах дома, где она прожила свою нелегкую и напрасную жизнь.

Легла она поздно, долго разглядывала семейный альбом, лица канувших в Лету родных под скудным освещением керосиновой лампы выглядели особенно печальными и задумчивыми. Скоро увидимся, шептала Анатолия, гладя каждую карточку своими огрубевшими от тяжелого деревенского труда пальцами, скоро увидимся. Несмотря на подавленное и тревожное состояние, уснула она легко и проспала до самого утра. Проснулась от всполошенного крика петуха – птица бестолково шебаршилась в курятнике, с нетерпением дожидаясь того часа, когда ее выпустят погулять по огородным грядкам. Анатолия внимательно прислушалась к себе. Самочувствие определила как вполне сносное – если не считать ломоты в пояснице и легкого головокружения, вроде ничего и не беспокоило. Осторожно поднялась, сходила в сортир, с каким-то злым удовлетворением убедилась, что крови стало еще больше. Вернулась в дом, соорудила из клока шерсти и лоскута ткани прокладку. Если дело и дальше так пойдет, то к завтрашнему утру из нее вытечет вся кровь. Значит, еще одного восхода в ее жизни может просто не случиться.

Она постояла на веранде, впитывая каждой клеточкой бережный утренний свет. Сходила к соседке – поздороваться и узнать, как у нее дела. Ясаман затеяла большую стирку – как раз ставила на дровяную печку тяжелый чан с водой. Пока вода грелась, они поговорили о том

о сем, обсудили житейские дела. Скоро поспеет шелковица, надо будет ее трясти, собирать плоды, из одной части варить сироп, другу часть сушить, а третью оставить доходить в деревянной бочке, чтобы потом пустить на тутовую самогонку. Да и за конским щавелем пора уже собираться, через неделю-другую будет поздно – на жарком июньском солнце трава быстро грубеет и делается непригодной для пищи. Анатолия ушла от подруги, когда вода в чане закипела. Теперь можно не беспокоиться, Ясаман о ней до завтрашнего утра не вспомнит. Пока постирает белье, пока накрахмалит его, подсинит, развесит сушиться на солнце, соберет, погладит. Только к позднему вечеру и управится. Так что у Анатолии будет достаточно времени, чтобы тихо отойти в мир иной.

Успокоенная этим обстоятельством, утро она провела в неспешных будничных хлопотах и лишь после полудня, когда солнце, перейдя купол неба, чинно покатилось к западному краю долины, легла помирать.

Анатолия была младшей из трех дочерей Севоянц Капитона и единственной из всей его семьи, кому удалось дожить до преклонного возраста. Слыханное ли дело – в феврале справила пятидесятивосьмилетие – небывалая для ее родных дата.

Мать свою она помнила плохо – та умерла, когда ей было семь лет. У нее были необычайного золотистого оттенка миндалевидные глаза и густые медовые кудри. Звали ее очень созвучно ее внешности – Воске[2]. Мать заплетала свои чудесные волосы в тугую косу, укладывала ее с помощью деревянных шпилек в тяжелый узел на затылке и ходила чуть запрокинув назад голову. Часто водила пальцами по шее, жаловалась, что та немеет. Раз в год отец сажал ее у окна, бережно расчесывал волосы и аккуратно подрезал их на уровне поясницы – выше подрезать мать не позволяла. И дочерям никогда не обрезала косы – длинные волосы должны были уберечь их от проклятия, которое кружило над ними вот уже двенадцать лет, с того дня, когда она вышла замуж за Севоянц Капитона.

На самом деле замуж за него должна была пойти ее старшая сестра, Татевик. Татевик тогда было шестнадцать, и четырнадцатилетняя Воске, вторая девочка на выданье в большой семье Агулисанц Гарегина, принимала самое деятельное участие в подготовке к торжеству. По вековой, чтимой многими поколениями маранцев традиции, после церемонии венчания свадьбу должны были сыграть в доме невесты, а потом – в доме жениха. Но главы семей Капитона и Татевик – двух богатых и уважаемых родов Марана – решили объединиться и сыграть одну большую свадьбу на мейдане[3]. Торжество обещало быть неслыханным по размаху. Отец Капитона, решив поразить воображение многочисленных гостей, отправил в долину двух своих зятьев, чтобы они пригласили на свадьбу музыкантов камерного театра. Те вернулись уставшие, но довольные и объявили, что чопорные музыканты сразу же сменили гнев на милость (виданное ли это дело, приглашать в деревню театральный оркестр!), когда узнали о щедром гонораре в две золотые монеты каждому и запасе провизии на неделю, который после торжества обещали доставить на телеге в театр зятья Капитона. Отец Татевик готовил свой сюрприз – на свадьбу был приглашен самый известный толкователь снов долины. За вознаграждение в десять золотых он согласился заниматься своим ремеслом на протяжении всего дня, единственное, что попросил, – помочь с доставкой необходимого для работы оборудования: шатра, стеклянного шара на массивной бронзовой подставке, стола для гаданий, широкой тахты, двух вазонов с густопахнущим разлапистым растением невиданной доселе породы и диковинных спиральных свечей из специальных сортов растертого в порошок дерева, которые горели по нескольку месяцев, распространяя вокруг имбирный и мускусный аромат, но не догорали. На свадьбу, кроме маранцев, были приглашены полсотни жителей долины, в большинстве своем – уважаемые и состоятельные люди. О предстоящем празднестве, обещавшем превратиться

[2] Золотая *(арм.)*.

[3] Центральная площадь в небольших населенных пунктах, место, где собирались люди.

чуть ли не в достопамятное событие, написали даже в газетах, и это было особенно почетно, потому что прежде пресса никогда не упоминала о торжествах в семьях, не имевших дворянского происхождения.

Но случилось то, чего никто не ожидал, – за четыре дня до бракосочетания невеста слегла с лихорадкой, промучилась в горячечном бреду сутки и, не приходя в сознание, скончалась.

В день ее похорон над Мараном, видимо, разверзлись какие-то иные, темные врата и выступили другие, обратные небесным силы, потому что ничем, кроме помутнения рассудка, поведение глав двух семейств объяснить было нельзя. Сразу же после отпевания, недолго посовещавшись, они решили не отменять свадьбу.

– Не пропадать же расходам, – объявил за поминальным столом бережливый Агулисанц Гарегин. – Капитон хороший парень, работящий и уважительный, любой будет рад заполучить такого зятя. Татевик Бог забрал к себе, значит, так тому и суждено было случиться, грех роптать на Его волю. Но у нас имеется еще одна дочь на выданье. Так что мы с Анесом решили, что замуж за Капитона пойдет Воске.

Никто не посмел возразить мужчинам, и безутешной после потери любимой сестры Воске ничего не оставалось, как безропотно выйти замуж за Капитона. Траур по Татевик отодвинули на неделю. Свадьбу отгуляли большую, шумную и очень сытную, вино и тутовая самогонка лились рекой, сервированные под открытыми небом столы ломились от всевозможных блюд, облаченный в темные сюртуки и начищенные до блеска ботинки оркестр наигрывал польки и менуэты, маранцы какое-то время напряженно прислушивались к непривычной уху классической музыке, но потом, порядком охмелев, махнули рукой на приличия и пустились в обычный деревенский пляс.

В шатер толкователя снов мало кто наведывался – не до того было разгоряченным обильной едой и питьем гостям свадьбы. Воске туда за руку привела обеспокоенная двоюродная тетя, когда девушка, улучив минуту, рассказала в двух словах сон, который ей приснился накануне венчания. Толкователь оказался крохотным, тощим и невероятно, аж устрашающе уродливым стариком. Он показал рукой, куда сесть Воске, – та обомлела, разглядев мизинец его правой руки: длинный, много лет не стриженный темный ноготь, согнувшись скобой, огибал подушечку пальца и рос вдоль ладони, в сторону кривого запястья, сковывая движения всей кисти. Тетю старик бесцеремонно выпроводил из шатра, велев подежурить у входа, сам устроился напротив, широко расставив ноги в диковинных шароварах и свесив между колен длинные тонкие кисти, и молча уставился на Воске.

– Мне сестра приснилась, – ответила на его незаданный вопрос девушка. – Стояла спиной – в красивом платье, с вплетенной в косу жемчужной нитью. Я хотела обнять ее, но она не далась. Обернулась ко мне – лицо почему-то старое, в морщинах. И рот такой… словно язык не умещается. Я заплакала, а она отошла в угол комнаты, выплюнула какаю-то темную жидкость себе в ладони, протянула мне и говорит: «Не видать тебе счастья, Воске». Я перепугалась и проснулась. Но самое страшное случилось после, когда я открыла глаза и поняла, что сон продолжается. Время было раннее энбашти[4], петухи еще не кричали, я пошла попить воды, зачем-то взглянула вверх, на потолок, и увидела в ердике[5] печальное лицо Татевик. Она скинула мне под ноги свой головной ободок с накидкой и исчезла. А ободок и накидка, коснувшись пола, рассыпались в прах.

Воске тяжело разрыдалась, размазывая по щекам черную краску с ресниц – единственную косметику, которой пользовались женщины Марана. Из расшитых дорогим кружевом и

[4] Раннее утро, отрезок от 3 до 6 утра.

[5] Окно в потолке помещения.

серебряными монетами разрезов шелковой минтаны[6] выглядывали ее хрупкие детские запястья, на виске тревожно забилась голубая беспомощная жилка.

Толкователь снов с шумом выдохнул, издав протяжный, раздражающий слух звук. Воске осеклась и испуганно уставилась на него.

– Слушай меня, девочка, – проскрипел старик, – сон я тебе объяснять не буду, проку в этом никакого, все равно ничего уже не изменить. Единственное, что посоветую, – никогда не состригай волосы, пусть они всегда прикрывают тебе спину. У каждого человека – свой оберег. У меня, – тут он помахал перед носом Воске правой рукой, – ноготь мизинца. А у тебя, стало быть, – волосы.

– Хорошо, – шепнула Воске. Она подождала немного, надеясь на какие-то еще указания, но толкователь снов хранил угрюмое молчание. Тогда она поднялась, чтобы уйти, но, собравшись с духом, заставила себя спросить: – Вы не знаете, почему именно волосы?

– Не могу знать. Но раз она кинула тебе головной убор – значит, хотела прикрыть то, что может уберечь тебя от проклятия, – не отрывая взгляда от дымящейся свечи, ответил старик.

Воске вышла из шатра, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, ей было не так тревожно, потому что часть своего беспокойства она оставила толкователю снов. Но в то же время не отпускала мысль, что ей пришлось, хоть и не из злого умысла, но все-таки выставить покойную сестру в глазах постороннего человека чуть ли не ведьмой. Когда она пересказала переминавшейся в нетерпении у шатра тетке пророчество старика, та почему-то несказанно обрадовалась:

– Главное, что нам нечего бояться. Делай так, как он тебе посоветовал, и все обойдется. А душа Татевик на сороковой день покинет нашу грешную землю и оставит тебя в покое.

Воске вернулась за свадебный стол – к новоиспеченному мужу, робко улыбнулась ему. Тот смутился, улыбнулся в ответ и внезапно густо покраснел – несмотря на солидный по патриархальным меркам двадцатилетний возраст, Капитон был очень стеснительным и робким юношей. Три месяца назад, когда в семье пошли разговоры о том, что пора бы его женить, муж старшей сестры сделал ему подарок – отвез в долину и оплатил ночь в доме терпимости. В Маран Капитон вернулся в большой растерянности. Не сказать что ночь утех, проведенная в объятиях пахнущей розовой водой, гвоздикой и потом публичной женщины, не пришлась ему по душе. Скорее наоборот – он был оглушен и заворожен теми томительно жаркими ласками, которыми она его щедро одарила. Но неясное чувство гадливости, легкая тошнота, которая зародилась в нем в ту самую минуту, когда он поймал выражение ее лица – извиваясь, словно змея, издавая глухие стоны и лаская его искусно и страстно, она умудрялась сохранять такую бесчувственную, каменную мину, словно не любовью занималась, а чем-то совершенно будничным, – не давали ему покоя. Со свойственной его возрасту опрометчивой торопливостью решив, что такое расчетливо-бесстыдное поведение присуще в постели всем женщинам, он ничего хорошего от брака не ждал. Именно потому, когда отец объявил, что после смерти старшей дочери Агулисанц Гарегина он должен жениться на младшей, Капитон лишь молча кивнул в знак согласия. Какая разница на ком жениться? Все женщины по сути своей лживы и неспособны к искренним чувствам.

Ближе к ночи, когда официанты принялись подавать к столам сочные ломти запеченного в специях окорока и рассыпчатую пшенную кашу со шкварками и жареным луком, хмельные сваты под визгливый вой зурны и одобрительный гул гостей свадьбы отвели молодых в спальню и заперли их там на засов, обещав выпустить утром. Оставшись с мужем наедине, Воске горько разрыдалась, но, когда Капитон подошел к ней, чтобы обнять и утешить, не оттолкнула его, а наоборот, прильнула к нему и мигом притихла, только всхлипывала и смешно шмыгала носом.

– Я боюсь, – подняла она к нему свое заплаканное личико.

---

[6] Платье на торжество.

– Я тоже боюсь, – просто ответил Капитон.

Этот незамысловатый, но пронзительный в своей искренности и трогательности диалог, выговоренный стыдливым шепотом, связал их молодые и голодные до любви сердца неразрывно и навсегда. Уже потом, в постели, прижимая к груди свою юную супругу и с признательностью ловя каждое ее движение, каждый вздох, каждое нежное прикосновение, Капитон сгорал от стыда за то, что посмел сравнить ее с женщиной из долины. Воске в его объятиях светилась и переливалась, словно драгоценный камушек, она грела и наполняла смыслом все, что его окружало, отныне и присно она стала всем самым дорогим, что есть и будет в его жизни.

Спустя неделю, когда Агулисанц Гарегин и его зятья, простоволосые и безмолвные, одетые с ног до головы в черное, забили трех породистых телков, отварили мясо без соли и разнесли его по деревне на больших подносах – люди открывали двери и молча забирали положенную каждому дому порцию – разговаривать, когда тебе приносят мясо жертвенного животного, нельзя, – Воске завесила окна своей спальни непроницаемой тканью и вознамерилась до конца своих дней носить траур по сестре. Она изводила себя бесконечными постами и проводила в церкви долгие вечера, молясь за упокой души Татевик и выпрашивая у нее прощение, в скорбном сопровождении матери, невесток и двоюродных теток раз в неделю посещала кладбище, чтобы поухаживать за могилой сестры. Светлое и темное время суток словно поменялись для нее местами – ночью она любила и грела солнцем, а днем превращалась в пасмурное и горестное существо. Татевик к ней никогда больше не приходила, и этот факт очень печалил Воске. Она так и не простила меня, иначе обязательно бы приснилась еще раз, глотая слезы, делилась она своими переживаниями с мужем.

Чтобы как-то отвлечь жену от печальных мыслей, Капитон предложил ей заняться меблировкой дома, доставшегося им после свадьбы. Раньше в этом доме обитали его незамужняя тетка и бабушка – бабо Манэ, но потом они перебрались к отцу Капитона, оставив молодым основательное, толстобокое и темноватое, но обжитое и уютное жилище с большой деревянной верандой, высоким чердаком и ухоженным фруктовым садом. Воске наотрез отказывалась переезжать, потому что дом находился в другом конце Марана. Но Капитон упорствовал – живя вдали от скорбящих родных, она меньше будет вспоминать о сестре и быстрее смирится с горечью утраты.

С большой неохотой уступив увещеваниям мужа, Воске неожиданно для себя увлеклась новым занятием и так рьяно взялась за дело, что даже заказала в долине несколько журналов по интерьеру. Тщательно изучив их, она остановила свой выбор на столовой из мореного дуба – овальный обеденный стол, четыре обитые темно-зеленым бархатом широкие тахты, три десятка стульев – сидячих мест должно быть много, потому что гостей всегда будет полон дом, и несколько украшенных искусной резьбой буфетов с высокими стеклянными створками, куда можно будет убрать вычурный сервиз на двадцать четыре персоны и множество другой посуды, полученной в подарок от гостей на свадьбу. Плотнику Минасу, взявшемуся в точности воспроизвести мебель, пришлось нанять двух подмастерьев к своим трем, чтобы успеть к указанному сроку, – Воске уже была беременна первым ребенком и хотела справиться с меблировкой дома до его рождения. Время до родов она проводила в рукоделии – вышила на пару с матерью несколько скатертей и покрывал, два комплекта постельного белья, приданое и наряд для крестин младенца. Еженедельно, после ритуального посещения кладбища, она наведывалась в плотницкую Минаса, чтобы проконтролировать работу. Минае кряхтел и хмурился, но молча терпел визиты

Воске, правда, быстро выпроваживал ее домой, мотивируя тем, что женщине, особенно беременной, не пристало находиться в пропахшей ядовитым лаком и мужицким потом мастерской. Но визиты в плотницкую не прошли даром – мебель была готова вовремя, и, едва приведя в порядок дом и справив новоселье, Воске слегла в схватках. Через сутки она подарила

своему Капитону дочь, которую назвали Назели. Спустя два года родилась Саломэ, еще через полтора года – младшая, Анатолия.

Ласковая и предупредительная к мужу, Воске была немногословна и очень сдержанна с дочерьми – Анатолия не припоминала, чтобы та называла их уменьшительно-ласкательными словами или поминутно осыпала поцелуями, как это делали другие матери. Она никогда не хвалила их, но и не ругала. Если что-то не нравилось, молча поджимала губы или же задирала бровь. Этой высоко вздернутой брови девочки остерегались больше, чем постоянного ворчания престарелой бабо Манэ, единственной родственницы, которая уцелела после страшного землетрясения, смывшего в бездну западное плечо Маниш-кара. Случилось это бедствие в год, когда должна была родиться Саломэ. Бабо Манэ перебралась к ним, чтобы помогать с маленькой Назели – мучимой тяжелыми приступами тошноты Воске сложно было справляться с непоседливым ребенком. Беда нагрянула морозным декабрьским полуднем: земля под ногами содрогнулась, заворочалась, загудела – протяжно, с выворачивающим душу завыванием, расколола плечо Маниш-кара и рухнула в пропасть, увлекая за собой дома с пристройками и дворами, захлебывающихся в крике людей и живность, которая, предчувствуя приближающееся несчастье, металась в коровниках и хлевах, тщетно пытаясь привлечь внимание и предупредить хозяев.

Уцелевшая часть деревни перенесла удар стихии мужественно и с достоинством: люди отслужили заупокойные службы в крохотной часовне (стоящая на краю деревни церковь Григора Лусаворича[7] рухнула в пропасть первой) и разошлись по домам – укреплять испещренные глубокими трещинами стены и обрушившиеся крыши, приводить в порядок поваленные набок деревянные частоколы. Разговоров о том, что надо бы переехать в относительно безопасные низины, тогда еще не велось – они случились много позже. После землетрясения мейдан опустел – никогда больше там не проводились шумные праздники и гулянья. Несколько раз по старой памяти приезжали из долины цыгане, рассказывали, что часть рухнувших в пропасть домов унесло селем далеко на запад и прибило к чужим деревням, и что люди, жившие в этих домах, целы и невредимы, но никогда не вернутся, потому что пережитый страх отбил им память, и они не знают, что когда-то жили на макушке покрытой вековым лесом и благодатными пастбищами горы. Цыган выслушивали с благодарностью, одаривали всяким скарбом и тряпьем – и отпускали с миром, каждый в душе надеялся, что они рассказывают правду и что несчастные обитатели западного крыла Маниш-кара живы. И даже то, что они теперь говорили на других языках и носили другую одежду, не имело никакого значения, в конце концов, небо везде одинаково синее, и ветер дует ровно так, как в краю, где тебе посчастливилось родиться.

Цыгане приезжали еще несколько раз, а потом перестали – они первыми ощутили приближение новой катастрофы и однажды исчезли – безмолвно и навсегда, растворившись в жарком мареве полуденного солнца, слепяще-золотом, как те монеты, которыми они расплачивались в ярмарочные дни на мейдане, пойманные за руку за ритуальный проступок воровства.

Анатолия родилась в ночь перед последним их появлением в деревне. Бабо Манэ как раз увела к соседке старших правнучек, чтобы дать отдохнуть обессилевшей после тяжелых родов Воске, рядом, под материнским боком, бережно укутанная в теплое одеяло, спала крохотная Анатолия – единственная из дочерей Севоянц Капитона, как две капли воды похожая на своего смуглого деда, оттуда и род их называли Севоянц, потому что «сев» в переводе с маранского означает «черный». Цыганка – полноватая и низкорослая женщина с едва заметным шрамом на левой щеке, беспрепятственно вошла в дом, прошла нигде не останавливаясь, по всем комнатам, без стука заглянула к Воске – та испугалась, приподнялась на локте, прикрыла младенца. Цыганка сделала успокаивающий жест рукой – не бойся, я тебе плохого не сделаю, подошла к кровати, заглянула в личико ребенку.

---

[7] Григорий Просветитель.

– Как назовешь?

– Анатолия.

– Красиво.

Она выпрямилась, отогнула край одеяла и простыню, подобрала свои разноцветные оборчатые юбки, села, по-мужски расставив ноги и свесив между ними тонкие длинные кисти рук. Ее поза показалась Воске смутно знакомой, кто-то уже говорил ей важные слова сидя точно так, опершись локтями о расставленные колени, но, кто именно, она вспомнить почему-то не смогла – словно ей мановением руки стерли память.

– Мы сюда не вернемся больше, никогда. Отдай из своих украшений то, от чего ты хотела бы избавиться. Так надо, – медленно проговорила цыганка. Голос у нее был хриплый, прокуренный, часто прерывался на окончаниях слов, словно не хватало дыхания договорить.

Воске даже в голову не пришло возразить непрошеной гостье: было в ее сосредоточенном и тяжелом взгляде и выражении лица такое, что заставляло проникнуться к ней беспрекословным доверием. Поэтому она выгребла привычным жестом из-под спины длинные медовые волосы, откинула их на подушку – так они не мешали лежать, сложила на груди руки и задумалась. Украшений у нее мало, и все подарены сгинувшими в землетрясении родными. Отдавать что-нибудь одно равносильно было отказу от памяти.

– Открой верхний ящик комода, там лежит шкатулка. Выбери сама, – после недолгих колебаний, наконец, решилась Воске.

Цыганка тяжело встала, расправила край простыни и одеяла, выдвинула ящик, запустила туда руку, вытащила не глядя какое-то украшение, спрятала его за пазуху и направилась к выходу.

– Почему вы больше не вернетесь? – остановила ее вопросом Воске.

Цыганка взялась за ручку двери.

– Этого я сказать тебе не могу.

Чуть поколебавшись, добавила:

– Меня зовут Патрина.

Воске хотела назваться, но цыганка резко замотала головой – не надо. Потом тщательно закуталась в теплую шаль, коротко кивнула и вышла. Как только дверь за ней закрылась, у Воске закружилась голова. Она откинулась на подушку, полежала с закрытыми глазами, чтобы переждать приступ дурноты, и неожиданно для себя заснула. Пробудилась она в полной уверенности, что визит цыганки ей приснился, однако незадвинутый ящичек комода говорил об обратном. Она попросила бабо Манэ передать ей шкатулку с украшениями, недосчиталась тяжелого серебряного перстня с синим аметистом. Это было бабушкино кольцо, которое по праву наследования должно было перейти старшей ее внучке, Татевик. Но досталось Воске.

В комнате пахло вечерней свежестью и совсем немного – ромашковой горечью. Выпала роса, вытянула из полусонных цветов густой аромат и разлила его над землей. Еще час-другой – и наступит ночь, на Маниш-кар она надвигается стремительно и внезапно, словно из-за угла, казалось, только что горизонт переливался закатными лучами, а через секунду все уже затоплено дремотой, небо совсем низкое, в щедрой россыпи звезд, и сверчки поют так, словно в последний раз.

– Вот бы знать, о чем они поют, – пробормотала Анатолия и неожиданно для себя рассмеялась, да так неудачно, что подавилась собственной слюной. Откашлявшись, приподнялась на локте, отпила из стакана – графин с водой всегда стоял на прикроватной тумбочке, привычка, которую она завела со времен брака, муж, большой водохлеб, поглощал жидкость в огромных количествах, даже ночью, а чтобы не подниматься лишний раз, требовал каждый вечер оставлять на прикроватной тумбочке графин со свежей водой. Вот уже двадцать лет, как его и след простыл, а Анатолия ежедневно по старой памяти наливала в графин свежей воды.

На следующее утро она пускала ее на полив растений в горшках и снова наполняла посудину водой. И так изо дня в день, каждый день, два десятка лет кряду.

Выпив воды, она с превеликой осторожностью повернулась на бок, пошарила рукой под собой, поправляя клеенку. Меж ног было влажно и противно, тщательно сооруженная прокладка – Анатолия предусмотрительно проложила ее паклей, чтобы дольше держалась, – протекла насквозь, а ночная сорочка намокла и прилипла сзади к телу. Пришлось подниматься и переодеваться. Анатолия проделала все манипуляции, подавляя тошноту, – почему-то все происходящее вызывало у нее чудовищное раздражение и брезгливость. Крови стало еще больше, она хлестала с какой-то непреодолимой, злой силой, словно спешила как можно быстрее покинуть ее чрево. Анатолия убрала испачканное белье с глаз долой под кровать, легла, разгладила второй лоскут клеенки, накрылась им, накинула сверху одеяло, тщательно закутав ступни – ноги зябли даже летом, в самую жару.

– Скорее бы уже помереть, – вздохнула, прикрыла глаза и покорно нырнула в омут воспоминаний. С ними время летело незаметней.

Ей было семь лет, когда ушла мама – затопила баню, выкупала дочерей, уложила в постель, а на то время, пока возилась с ними, закрыла заслонку печной трубы, чтобы задержать жар. Запамятовала потом ее открыть и угорела насмерть. Уставший после тяжелой работы Капитон уснул, не дождавшись жены, а проснувшись среди ночи и не обнаружив ее рядом, выбил дверь бани, вынес ее на руках – Воске, падая, зацепила дверцу печи, та распахнулась, и часть высыпавшихся углей, почему-то не погаснув от влаги, спалила ее дивные медовые кудри.

– Проклятие Татевик настигло нас! – возведя к небу корявые смуглые руки, рыдала в голос старенькая бабо Манэ, ей к тому времени перевалило за сто – полуслепая, немощная, дни напролет она проводила на тахте, обложившись мутаками[8], шелестя прозрачными бусинами четок, шептала молитвы. Смерть Воске заставила ее подняться и взвалить на свои согбенные плечи заботы по дому, она прожила еще пять лет и ушла в самый страшный голод, похоронив обессилевших от недоедания старших правнучек. Саломэ угасла первой, на следующий день отошла Назели, девочек положили в один гроб, прикрыли длинными волосами – голод, кроме здоровья и красоты, забрал у них пышные, медовые материнские косы. Бабо Манэ промыла их в лавандовой воде, просушила на сквозняке, расчесала и накрыла, словно покрывалом, стаявшие до прозрачности тела правнучек.

Капитон отвез младшую дочь в долину – к дальней родне, оставил им шкатулку с драгоценностями Воске и сбереженные за все годы нелегкого крестьянского труда средства – сорок три золотые монеты. Каждый раз, когда Анатолия закрывала глаза, перед ее внутренним взором вставал отец – исхудалый, с ввалившимися щеками и потухшим взглядом, молодой мужчина, за короткий срок превратившийся в дряхлого старика, она задерживала дыхание, чтобы не разрыдаться от дикой, терзающей сердце боли, когда вспоминала, как он прижал ее к своей груди, шепнул на ухо – хотя бы ты выживи, дочка, как вышел из дому, плотно прикрыв за собой дверь, – и больше не приходил, никогда.

Вернулась она в Маран спустя долгих семь лет, к тому времени приютившая ее семья успела пустить по ветру украшения матери, единственное, что осталось Анатолии, – камея из натуральной раковины, нежно-розовая, в бежевый перелив, с искусно вырезанной юной девушкой, сидящей вполуоборот на крохотной скамье под сенью ивы и выглядывающей кого-то вдали. За годы, проведенные в долине, Анатолия научилась многому, и в первую очередь – грамоте, счету и письму, в школу ее не отдавали, объясняя это тем, что средств на образование нет, но жена троюродного дяди, женщина несчастная и бесправная, находящаяся скорее в роли прислуги, чем хозяйки дома, приговоренная всю жизнь терпеть постоянные пьяные выходки мужа и сыновей, обучила ее всему, что знала сама. Она никогда не обижала Анатолию, была

[8] *Мутака* – продолговатая диванная подушка.

очень ласкова и предупредительна к ней, защищала от грубости и хамства троюродных братьев, а перед самой своей кончиной – умирала она долго и мучительно, от какой-то неведомой болезни, медленно и неуклонно разрушавшей ее здоровье, – отправила девятнадцатилетнюю Анатолию на почтовом фургоне обратно, в Маран.

Анатолия к тому времени выросла в миловидную девушку – иссиня-черные дедовские глаза, оливковая кожа, длинные, доходящие до середины икр, неожиданно льняные, в медовый перелив, материнские кудри. Волосы она заплетала в пышную косу, укладывала ее на затылке тяжелым узлом и ходила, как Воске, чуть откинув назад голову. Старенькая мать Ясаман, увидев ее после стольких лет разлуки, ахнула и схватилась за сердце – как же ты похожа на обоих своих родителей, девочка, словно соединила несчастные их души в своей. Анатолия несказанно обрадовалась тому, что соседи пережили голод. Ясаман, которая была старше ее на двадцать два года и к тому времени уже нянчила первого внука, взялась со своим мужем Ованесом помогать ей приводить в порядок одряхлевший дом и поднимать огород. Они укрепили подпорками заднюю стену, заменили ссохшиеся оконные рамы на новые, залатали провалившийся пол веранды. Со временем Анатолия искренне привязалась к ним, и привязанность эта была взаимной. К Анатолии, единственной выжившей дочери своего соседа и друга, Ованес относился с отеческой заботой и вниманием, а Ясаман стала для нее всем – матерью, сестрой, подругой, плечом, на которое можно опереться, когда жизнь становится совсем невыносимой.

За время, проведенное в долине, Анатолия отвыкла от тяжкого деревенского труда, прошло немало времени, пока она снова научилась справляться и с огородом, и с готовкой, и с уборкой. Чтобы облегчить себе жизнь, она заперла большую часть комнат в доме, определив под жилье родительскую спальню, гостиную и кухню, но раз в две недели ей приходилось тщательно прибираться везде, протирать пыль, выбрасывать проветриваться на солнце или на свежий, пахнущий инеем мороз тяжелые одеяла из овечьей шерсти, подушки, мутаки и ковры. Понемногу она обзавелась живностью – Ясаман подарила ей курочку, которая первое время обитала в старом курятнике, чтобы не оставаться без петуха. Но потом, когда она высидела яйца, Анатолия забрала ее с пищащим и копошащимся выводком к себе, один из цыплят – боевитый, вздорный с первых дней жизни, вырос в знатного петела, настоящего потаскуна, с охотой покрывающего не только свой куриный гарем, но и пернатую женскую половину соседних дворов, за что не раз попадал в кровавые драки, откуда, впрочем, неизменно выходил победителем и долго потом кукарекал с забора, наводя страх и трепет на поверженных противников. Следом Анатолия обзавелась козой, научилась заквашивать мацун[9] и делать правильную брынзу – мягкую, нежную, молочно-влажную на срезе. Первое время пекла хлеб под присмотром Ясаман, потом поднаторела и справлялась сама. По воскресеньям, в самую рань, ходила на кладбище, а потом в часовню – поминать родных. Кладбище за годы ее отсутствия увеличилось в два раза, Анатолия обходила молчаливые каменные кресты, вычитывая высеченные на них имена целых семей.

Спустя полгода после возвращения она устроилась на работу в библиотеку. Взяли ее туда, невзирая на отсутствие образования, просто потому, что работать было больше некому – старая библиотекарша не пережила голода, а никого другого, кто согласился бы за жалкие гроши проводить пять дней в неделю в пыльном, заставленном книжными полками помещении, не нашлось. Детей в Маране не осталось, единственному пережившему голод ребенку, внуку Меликанц Вано, едва исполнилось пять лет, построенные накануне голода школа и библиотека практически пустовали, но Анатолия не унывала: жизнь везде пробьет себе дорогу, скоро родится новое поколение детей, и все вернется на круги своя.

Библиотека показалась ей раем, местом, где можно отдохнуть от ежедневных однообразных и опостылевших домашних забот. Анатолия тщательно перемыла полки, натерла их до

[9] Кисломолочный продукт, напоминающий вкусом простоквашу.

блеска домашним воском, перебрала читательские формуляры, по новой расставила книги, игнорируя шифр и алфавитный порядок и руководствуясь исключительно цветовыми предпочтениями – внизу те, которые в темных обложках, а наверху те, что в светлых. Завела кругом растения – душистый горошек, алоэ и герань, на горшки пустила глиняные широкогорлые кувшины, которые простаивали без дела в погребе, только сходила в плотницкую Минаса – с просьбой просверлить на донышках дырочки для лишней влаги. Подмастерье Минаса, кряжистый невысокий мужичок, вдовый и бездетный, в годы голода похоронивший всю свою семью, сразу положил на нее глаз. Он лично доставил в библиотеку кувшины, заглядывал потом еще несколько раз – якобы разузнать, нужна ли помощь, сидел допоздна, не сводил взгляда со смущенной Анатолии, а спустя месяц явился к ней домой – с предложением пожениться. Анатолия не любила его и знала, что не полюбит, но замуж пойти согласилась, просто потому, что выходить было больше не за кого, свободных мужчин в деревне не осталось, а те, которые были, не подходили по возрасту – или молодые, или же, наоборот, очень стары. Брак получился несчастливым, за восемнадцать долгих лет, прожитых с мужем, она так и не узнала, что такое ласковое слово или заботливое отношение. Муж оказался на удивление черствым и равнодушным человеком, был неуклюж и неотзывчив в постели, на робкие просьбы Анатолии быть хоть чуточку нежнее отвечал грубым хохотом, часто брал ее силой – она лежала после, пропахшая его потом и немытой плотью, и, глотая слезы, ненавидела себя всей душой. Единственной мечте – родить детей и посвятить себя их воспитанию – не суждено было сбыться: ей так и не удалось забеременеть. Муж сначала только обвинял ее в бесплодии, но с годами становился мрачней и нетерпимее, выведенный из себя ее бессловесной покорностью, раздражался и зверел, а под конец завел привычку напиваться и поколачивать ее, валить на пол и таскать по дому за косы, норовя не пропустить ни одной комнаты, а потом запирал до утра в полусыром хозяйственном помещении. С каждым разом становясь все беспощаднее, он, наверное, когда-нибудь убил бы ее, если бы не страх перед исполинским Ованесом, который, заметив однажды кровоподтек на скуле Анатолии, ничего не говоря, прямиком направился в мастерскую, выдернул его из-за плотницкого станка, протащил за шиворот по двору и закинул на высокую поленницу. Ушел, сверкнув глазом:

– Еще раз поднимешь на нее руку – убью тебя без разговоров, ясно?

Заступничество Ованеса спасло Анатолии жизнь, но превратило в невыносимую муку каждый ее день – теперь муж доводил ее умеючи, в полнейшей тишине: выворачивал руки, бил по суставам – чтобы не видно было следов, изводил придирками, откровенно глумился над ней. Анатолия терпела молча, не жаловалась – боялась, что Ованес сдержит слово и убьет ее горе-мужа, а причинять кому-либо вред она не хотела.

Единственной отдушиной в ее беспросветных буднях стало чтение. Первые годы, когда библиотека совсем пустовала, она предавалась любимому занятию все рабочее время напролет. Понемногу, благодаря наитию и врожденному вкусу, научилась отличать хорошую литературу от плохой, влюбилась в классиков – русских и французских, но графа Толстого возненавидела беспрекословно и навсегда – сразу после прочтения «Анны Карениной». Вычислив в его отношении к героиням нестерпимое бездушие и высокомерие, она записала графа в самодуры и деспоты и убрала толстенные тома его книг подальше с глаз – чтобы меньше расстраиваться. Доведенная издевательствами мужа до крайней степени отчаяния, мириться с такой несправедливостью еще и на книжных страницах она не намеревалась.

В свободное от чтения время Анатолия наводила в библиотеке уют и красоту: завесила окна легкими ситцевыми шторами – в половину длины, чтобы не лишать растения солнечного света, притащила из дому палас и постелила его вдоль обвешанной портретами писателей стены, а неудобные сиденья деревянных лавок украсила веселенькими подушками, которые сама же и сшила из разноцветных лоскутов.

Библиотека теперь напоминала ухоженную оранжерею-читальню – все подоконники и проходы между полками были обставлены кувшинами и горшками с растениями, Анатолия перевезла из бывшего имения Аршака-бека (ныне заколоченного и забытого Дома культуры) восемь тяжелых псевдоантичных вазонов и развела в них чайные розы, душистую козью жимолость и горные лилии. Розы цвели невпопад и пахли так, что приманивали своим ароматом пчел, те залетали в открытые форточки и, немного поплутав в складках ситцевых штор, безошибочно находили дорогу к растениям. Собрав цветочную пыльцу, они улетали обратно, чтобы вернуться вновь. Однажды осенью, приманенный сладковато-горьким запахом плодов жимолости, в окно залетел целый пчелиный рой и, забившись за потолочную балку, вознамерился, видимо, остаться там навсегда. Анатолии пришлось обегать всю деревню в поисках двора, с пасеки которого улетели пчелы. В подклети вырос большой муравейник – муравьиные тропы, криво петляя, тянулись по дощатым настилам к входной двери и исчезали за порогом. Карниз крыши по периметру облепили гнезда ласточек – из года в год они прилетали туда, чтобы вывести новых птенцов. По осени, сразу после отлета птиц, Анатолии приходилось отмывать наружные стены от помета и прочего мусора обмотанной ветошью метлой. Однажды она обнаружила воробьиное гнездо в печной трубе и вынуждена была дожидаться того времени, когда птенцы вылупятся, окрепнут и улетят, и только после бережно перенесла гнездо на дерево. Иначе можно было спугнуть родителей, и те навсегда покинули бы гнездо, забросив на произвол судьбы недосиженные яйца.

Библиотека со временем стала напоминать Вавилон для живности, всякая пичужка или букашка находили здесь приют и множились с удивительной ретивостью. Анатолия оставляла на подоконниках блюдца с сахарной водой – для бабочек и божьих коровок, смастерила несколько кормушек для птиц и высадила во дворе небольшой огород – на радость муравьям. Так она и проводила дни, шелестя страницами любимых, пахнущих кожаным переплетом книг, бездетная и несчастная, окруженная невинными созданиями – на работе и терзаемая ненавистью супруга – в отцовском доме.

Спустя время школа шатко-валко, но набрала начальный класс, и в библиотеке наконец появились маленькие посетители. Анатолия обрушила на них всю свою нерастраченную материнскую любовь. На столе, рядом с деревянным лотком с читательскими формулярами, она всегда держала вазочку с сухофруктами и домашним печеньем. Если дети просили попить, наливала им чая или компота, а потом развлекала вычитанными или же придуманными историями. Взрослые редко заглядывали в библиотеку, не до книг им было, а вот дети – смешные, любопытные, глазастые – могли проводить там часы напролет. Они с трогательной осторожностью бродили среди вазонов и горшков с растениями, норовя принюхаться к каждому цветку, наблюдали за полетом пчел, доливали в блюдца сахарной воды, читали, делали уроки, отвлекаясь на многочисленные вопросы, которыми сыпали непрестанно. Уходя, непременно подставляли для поцелуя щечку. Анатолия искренне верила, что любовь детей не что иное, как утешение небес за ее бездетность.

– Пусть хотя бы так, – смиренно соглашалась она со своей судьбой.

Мучительная и тяжелая личная жизнь, на протяжении восемнадцати долгих лет неминуемо катящаяся под откос, кончилась большой трагедией. Муж, обозленный всеобщим ласковым к ней отношением, решил окончательно подпортить ей жизнь и однажды потребовал уволиться с работы. Обычно бессловесная, Анатолия неожиданно даже для себя ответила твердым отказом. А когда он привычно замахнулся на нее, пригрозила пожаловаться Ованесу.

– Пусть он тебя уму-разуму научит, – выпалила в сердцах она. – А если не возьмешься за ум – разведусь с тобой. Запомни, в моем отцовском доме ты руки на меня больше не поднимешь!

Муж нехорошо прищурился, смолчал. Но, дождавшись, когда она уйдет на работу, устроил настоящий погром – выбил двери во всех комнатах, разнес топором мебель, не поща-

дил даже сундук, который Анатолия берегла как зеницу ока – там, бережно проложенные сушеной лавандой и мятным листом, лежали платьица, туфельки и игрушки покойных сестер.

Привлеченная шумом Ясаман побоялась заходить в дом, отправила за подругой в библиотеку внука, а сама побежала в другой конец деревни – за мужем. Когда запыхавшийся Ованес добрался до места, Анатолия лежала без сознания на полу гостиной, избитая до полусмерти, а на гладкой поверхности овального стола зияли два глубоких следа от ударов топора – это озверевший муж, распластав ее на столешнице, отсек под корень чудесные медовые косы и, крикнув ей в лицо с торжествующим злорадством: «Теперь ты сдохнешь без своих волос», – скрылся из дому, забрав напоследок все ее скудные сбережения. Погоня за ним ничего не дала – он умудрился уехать на почтовом фургоне в долину, где и сгинул с концами и никогда более не давал о себе знать.

Ясаман выхаживала подругу молитвами и целебными настоями. Деревня, потрясенная случившимся, замерла в тревожном ожидании – каждый помнил о проклятии, которое ниспослала на семью Агулисанц Воске и Севоянц Капитона Татевик. Но Анатолия, ко всеобщему облегчению, быстро пошла на поправку и скоро снова вышла на работу. У нее еще долго ломило тело – особенно к перемене погоды, и зрение пострадало от удара кулаком по голове – пришлось съездить в долину, чтобы заказать себе очки, но она не роптала и выглядела даже счастливой, потому что наконец-то освободилась от гнетущего страха, преследовавшего ее все годы брака.

Старик Минае, дождавшись, когда она поправится, заглянул к ней домой, смущенно кряхтя, извинялся за непутевого помощника и предлагал починить испорченную мебель, но Анатолия отказалась что-либо восстанавливать. Она понемногу вынесла во двор обломки и сожгла их дотла, единственное, что оставила, – овальный стол из мореного дуба со следами от ударов топора. Ованес притащил ей шифоньер, Ейбоганц Валинка уступила кровать и тахту, а Якуличанц Магтахинэ – большой деревянный ларь. Минае потихонечку починил межкомнатные двери и перекрасил дощатые полы. От былого богатого вида дома не осталось и следа, но скудная обстановка не печалила Анатолию, она всегда умела довольствоваться малым. Несказанно радовалась чудом уцелевшему альбому с фотографиями – взяла его на работу, чтобы отреставрировать корешок, да так и забыла на столе, чем и спасла его.

До войны, неминуемым мороком кружившей над долиной, оставалось пять лет, и все эти годы Анатолия прожила в безмятежном, благословенном покое. Дни она проводила в библиотеке, вечера – у себя или же у Ясаман, по выходным навещала родных на кладбище – посаженная на могиле отца плакучая ива разрослась, развесила над каменными крестами свои длинные тонкие ветви, шелестела серебристо-зелеными листьями бесконечные молитвы. Анатолия располагалась между надгробиями, если позволяла погода, допоздна, до лилового заката. Иногда засыпала, прислонившись виском к прохладному крест-камню. Слева лежали мать с отцом, справа – сестры и бабо Манэ, Анатолия сидела, обхватив колени руками, и рассказывала им счастливые истории: о детях, которых с каждым годом, слава богу, рождалось все больше, о чайных розах, что приманивали своим ароматом целые рои пчел, о муравьиных тропах, тянувшихся из-под пола крохотными стежками к библиотечному порогу.

Так она и старела – медленно и неуклонно, в окружении дорогих сердцу призраков, одинокая, но счастливо умиротворенная. Ясаман, которую беспокоило одиночество подруги, несколько раз намекала, что неплохо бы ей еще раз выйти замуж, но Анатолия отрицательно качала головой – поздно, да и незачем. Что я видела хорошего от одного мужа, чтобы ждать хорошее от второго?

Война случилась в год, когда ей исполнилось сорок два. Сначала из долины стали приходить смутные известия о перестрелках на восточных границах, потом забил тревогу Ованес, дотошно читающий газеты. Судя по срочным сообщениям о боях, дела на границах – восточной, а затем и юго-западной – шли из рук вон плохо. Зимой подоспела весть об объявленной

всеобщей мобилизации. Спустя месяц всех мужчин Марана, способных держать в руках оружие, забрали на фронт. А потом война пришла в долину. Развернулась огромным клыкастым вертуном, загребая в свой чудовищный водоворот строения и людей. Склон Маниш-кара, по которому змеилась единственная дорога, ведущая в Маран, покрылся рытвинами – следами от минометных обстрелов. Деревня на долгие годы погрузилась в беспросветную темень, голод и холод. Бомбежки оборвали линии электропередач и выбили стекла в окнах. Пришлось обтягивать рамы полиэтиленовой пленкой, потому что неоткуда было достать новые стекла, да и какой смысл их вставлять, если следующий обстрел неминуемо превратит их в груду осколков? Особенно беспощадными бомбежки становились в сезон сева, намеренно не давая работать в поле, а скудного урожая с огорода хватало ненадолго. Дров, чтобы протопить печи и хотя бы избавиться от мучительного холода, неоткуда было добыть, лес кишел вражескими лазутчиками, не щадившими никого – ни женщин, ни стариков. На растопку пришлось пускать деревянные частоколы, потом – чердачные крыши и сараи, спустя время стали разбирать веранды.

Первая зима выдалась особенно мучительной, Анатолии пришлось перебраться жить на кухню, поближе к печи. В остальных неотапливаемых комнатах стало невозможно находиться – обтянутые пленкой окна не защищали от сырости и холода, а стены и потолки покрылись толстым слоем инея, который, если немного пригревало, подтаивал и стекал лужицами на мебель, одеяла и ковры, безвозвратно их портя. Скудные запасы керосина для ламп быстро иссякли, следом кончились свечи. Школа с наступлением холодов закрылась, библиотека тоже пустовала. Анатолия нагрузила тележку книгами, которые вознамерилась перечитать за зиму, а также горшками и вазонами с растениями и привезла их домой, в тепло. Загородила угол кухни, подстелила соломы, переселила туда беременную козу – к концу января та принесла двух козлят. Так и провела бесконечно долгую и холодную зиму – возле печи, в окружении растений, любимых книг и мелко мемекающих козочек. Мыться приходилось частями, в деревянном корыте – сначала голова, потом верхняя часть туловища, потом нижняя. Она мылась стыдливо повернувшись к козам спиной – стеснялась. Зима выдалась снежной, поэтому ходить за водой на родник надобности не было, Анатолия зачерпывала в ведра снег, часть оставляла на ночь – отстояться, на питье и готовку, а другую грела на печи и пускала на стирку и мытье посуды. В четверг и пятницу приходилось выносить помои на веранду, чтобы они остыли на холоде, и лишь потом выливать. По старинному, неукоснительно соблюдающемуся маранцами поверью, горячую воду в четверг и пятницу лить на землю было нельзя – чтобы не ошпарить ног Христу.

Зимние дни были похожи друг на друга, словно прозрачные камни в четках бабо Манэ, с которыми Анатолия не расставалась никогда. Утром она выбиралась в курятник – подсыпать зерна птице и забрать яйца, далее кормила коз, убиралась на кухне и готовила что-нибудь на скорую руку, а потом читала на протяжении недолгого смурого дня. С наступлением кромешной ночи дремала на тахте, завернувшись в несколько одеял, или же просто лежала, наблюдая гаснущее свечение углей сквозь небольшое отверстие в заслонке дровяной печи. Под рукой всегда лежал альбом с фотографиями родных, она пролистывала его, утирая краем рукава слезы, молчала. Рассказывать было нечего, а досаждать им жалобами не хотелось.

Весна настала чуть позже, чем обычно, только к середине марта измученный холодом и темнотой Маран, наконец, с облегчением выдохнул, заскрипел дверями и калитками, распахнул окна – впуская в дома солнечный свет. Радость от того, что наконец-то миновала беспросветная ледяная зима, была так велика, что затмила страх перед смертью. Маранцы давно уже привыкли к обстрелу, поэтому, не обращая на него внимания, занялись бытовыми делами, коих оказалось великое множество.

Никто не мог предположить, что проникшие в комнаты холод и сырость в состоянии причинить столько вреда имуществу. Нужно было хорошо проветрить и обсушить отсыревшие за зиму комнаты, чтобы победить вездесущую плесень, умудрившуюся пролезть во все белье-

вые сундуки и шифоньеры. Стены, полы и мебель пришлось обрабатывать раствором квасцов и купороса, а стирки хватило на долгий месяц, потому что перемывать пришлось все – начиная от постельных принадлежностей и одежды и заканчивая коврами и паласами. Работы было так много, что в библиотеку удалось выбраться лишь к концу апреля, когда немного поутихли бомбежки и в школе возобновились занятия.

Анатолия завозилась щекой по подушке, горько вздохнула, отгоняя набежавшие слезы. С того дня прошло много лет, но всякий раз она с большим трудом справлялась с глубокой душевной болью, когда вспоминала, в каком бедственном состоянии застала библиотеку. Сырость, проникнув сквозь затянутые пленкой окна, добралась даже до самых верхних полок, покрыв чудовищными пятнами плесени кожаные переплеты и безвозвратно пожелтевшие, искореженные страницы книг. Господи, господи, плакала Анатолия, одну за другой обходя обставленные книжными трупиками полки, что же я наделала, как же я их не уберегла?

Заглянувшая в библиотеку школьная директриса обнаружила ее на пороге, Анатолия сидела, обхватив голову руками, и, мерно раскачиваясь, рыдала – по-детски безутешно, взахлеб. Директриса – пожилая крупная женщина с тяжелой мужской челюстью и могучими плечами – молча выслушала ее сбивчивые объяснения, потом прошлась по библиотеке, выдернула наугад несколько книг, пролистала их, покачала головой. Вернула их на место, принюхалась к пальцам, поморщилась. Вытащила платок, брезгливо утерла руки.

– Ну и что ты могла сделать, Анатолия? Они все равно бы погибли.

– Но как же так? Как же так? Старая библиотекарша их в голод уберегла, а я не смогла в войну уберечь.

– Тогда окна были целы, а теперь… Кто же мог знать, что так выйдет!

Анатолия предприняла тщетную попытку спасти книги. Принесла моток бельевой веревки, протянула с десяток рядов по двору. Обвесила от края до края книгами, в надежде на то, что солнце и ветер вытянут влагу, а там, быть может, получится как-нибудь их отреставрировать. Со стороны казалось, будто над библиотечным двором взмыла стая разноцветных птиц, взмыла – и повисла в воздухе, уныло опустив свои бесполезные крылья. Анатолия ходила между рядами, ворошила страницы. Провела ночь в библиотеке, на случай дождя. На второй день книги пожухли и стали осыпаться страницами, словно листья по осени. Анатолия собрала их, вывалила за забор, заперла библиотеку – и никогда больше туда не возвращалась.

Спустя еще семь тяжелых лет война отступила, забрав с собой молодое поколение. Одни погибли, другие, чтобы спасти семьи, уехали в спокойные и благополучные края. К тому времени, когда Анатолии исполнилось пятьдесят восемь, в Марине остались только старики, не пожелавшие покидать землю, где покоились их предки. Будучи самой молодой жительницей деревни, Анатолия ничем внешне не отличалась от той же Ясаман, которой в дочери годилась. Ходила, как и остальные старушки, в шерстяных длинных платьях, повязывала передник, убирала волосы под косынку, которую затягивала причудливым узлом на затылке. На глухо застегнутом вороте носила неизменную камею – единственное украшение, которое осталось от матери. Надежды на то, что жизнь когда-нибудь изменится к лучшему, никто из маранцев не лелеял. Деревня кротко и приговоренно доживала свои последние годы, и Анатолия – вместе с ней.

За окном разлилась южная ночь, водила по подоконнику робкими лунными лучами, рассказывала нежным сверчковым стрекотом о сновидениях, что грезились миру. Анатолия лежала на подушках, прижав к груди альбом с фотографиями родных, – и плакала.

Глава 2

Шалваранц Ованес, нещадно гремя вилкой, взбивал в пышную пену гоголь-моголь. Каждое утро, независимо от времени года, обстоятельств и даже состояния здоровья, он завтракал

любимым лакомством, а потом заваривал себе крепкого чая с чабрецом, скручивал самокрутку и с наслаждением выкуривал ее, наблюдая, как вьется над толстобокой чашкой ароматный горячий пар.

Бумагу для самокруток приходилось экономить. Раньше такого не случалось – чего-чего, а бестолковой прессы в долине было хоть отбавляй. Почтовый фургон, натужно фырча, пять раз в неделю колесил вверх по склону Маниш-кара, привозя целые стопки влажно пахнущих типографской краской газет. Ованес честно просматривал каждую страницу. Заголовки все как один были громкими, а содержание – пустым, и это укрепляло его во мнении, что любое напечатанное слово по сравнению с произнесенным – пшик.

– Лучше сто раз подумать, а потом один раз сказать, чем бездумно тиражировать всякую ерунду, – брюзжал Ованес, раздраженно шурша страницами газет.

– Может, они сто раз подумали, перед тем как напечатать? – возражала Ясаман.

– Если бы они сто раз думали над каждым словом, то газеты выходили бы в лучшем случае раз в месяц. Разве можно за один день столько страниц умного придумать?

– Нельзя.

– Вотияотом!

Впрочем, пустой по содержанию газетный лист на вкусовые качества табака не влиял, поэтому Ованес продолжал исправно выписывать прессу. К сожалению, с началом войны почтовый фургон все реже поднимался по склону Маниш-кара, а потом и вовсе перестал – в долине случались большие перебои с поставкой топлива, и его оставляли на самые крайние и насущные нужды.

С отменой почтовых поставок начались проблемы с бумагой. Выкручивались, как могли. Сначала в ход пошли старые газеты, потом – испорченные книги, которые доведенная до отчаяния Севоянц Анатолия однажды свалила кучей за забором библиотеки. Старики молча разобрали заплесневелые, пахнущие сыростью и тоскливым молчанием томики Шекспира, Чехова, Достоевского, Фолкнера, Бальзака. Из толстенных книжных обложек сделали подставки под горячую посуду, а испорченные страницы пустили на растопку и прочие хозяйственные нужды. Самокрутки из такой бумаги отдавали горечью, чадили и постоянно гасли. Шалваранц Ованес щурился и чертыхался, поминутно прикуривая от тлеющей головешки, которую приходилось каждый раз, обжигаясь, извлекать из дровяной печи, – спичек в деревне тоже не хватало, поэтому пользовались ими крайне осмотрительно.

Война, восемь невыносимо долгих лет собиравшая по миру урожай неприкаянных душ, однажды захлебнулась – и отступила, подвывая и прихрамывая, зализывая кровящие лапы.

Топлива, как прежде, не хватало, но жизнь понемногу стала налаживаться, со скрипом возвращаясь на круги своя. Только Марана эти перемены почему-то не касались – никто не вспоминал о деревне и даже не намеревался. Единственной приезжающей в деревню машиной осталась карета скорой помощи, чтобы дозвониться до которой, приходилось отправлять с телеграфа молнию, потому что другой связи с внешним миром у Марана не было. Видно, в долине давно уже махнули рукой на горстку упрямых стариков, отказавшихся в свое время спускаться с макушки Маниш-кара в низины.

Теперь с бумагой выручал почтальон Мамикон. Раз в две недели (если не было писем – а письма случались крайне редко) он приносил в своей наплечной сумке стопки никому не нужных рекламных листовок, которыми была наводнена долина, и оставлял их на почте. Телеграфистка Сатеник разбивала листовки на двадцать три равные части – по количеству обитаемых домов в деревне – и оставляла на стойке, возле окошка. К вечеру бумагу разбирали.

Перед тем как завернуть в рекламу очередную порцию табака, Ованес внимательно изучал листовку. Судя по содержанию, умных мыслей у жителей долины не прибавилось, и даже совсем наоборот. Потому что, опять же судя по содержанию этих листовок, они теперь занимались только тем, что ходили к ведьмам – заговаривать любовь, брали в долгу банков деньги – на покупку ненужного хлама и стригли домашних питомцев в дорогущих парикмахерских для животных.

– Если Бог хочет наказать человека, первым делом отбирает у него ум, – качал головой Ованес, затягиваясь горьким табачным дымом.

Табак он выращивал сам, на заброшенном участке земли, который когда-то принадлежал его брату. Брат давно умер, дети разъехались по миру, а оставшийся без людской заботы огород быстро зарос бурьяном и мятликом. Вот Ованес и решил засадить его табаком – и земле хорошо, и, на радость Ясаман, освободит под картошку часть своего огорода. Под сушку определил веранду – прибил с обоих концов шиферные гвозди, загнул головки так, чтобы получились крюки. По мере созревания собирал табачный лист – обязательно с вечера, чтоб в растении было как можно меньше влаги, – нанизывал с помощью стальной иглы на шнуры, натягивал на переносные рамы, уносил потомиться в угловой темной комнате дома. Потом выносил рамы на солнечную веранду, натягивал шнуры с пожелтевшими листьями на крюки и оставлял до полного высыхания.

Табак получался отменный – ароматный, мягкий, в меру горчащий. В субботний день, когда на деревенском мейдане собирался небольшой базар, Ованес укладывал в плетеную корзину сухие табачные листья, брал с собой нарды – и уходил торговать. Рядом чинно вышагивала Ясаман – маленькая, шустренькая, в нарядной косынке и шелковом фартуке на выход. Фартук этот она повязывала строго по церковным праздникам и в субботу-воскресенье. В субботу – на мейдан, в воскресенье – в часовню, на редкие, раз в месяц, утрени, которые служил приходящий священник тер Азария.

По субботам, если позволяла погода, на мейдане собиралось все население деревни. Каждый приносил свои продукты – сезонные овощи-фрукты-зелень, сыр, масло, творог и сметану, вяленое мясо в специях, ветчину, нехитрую выпечку. Деньгами редко когда пользовались, практиковали прямой обмен. За десяток куриных яиц можно было получить нож, пара трехов[10] обменивалась на грвакан [11] овечьей брынзы или три четверти грвакана козьей, кувшин топленого масла – на два кувшина цветочного меда, четыре грвакана овечьей брынзы – на шерсть с одной овцы.

Раньше, когда хозяйства были большие, и жилых дворов в деревне насчитывалось полтысячи, на мейдане было не протолкнуться. Прилавки ломились от всевозможных яств, молоч-

[10] Крестьянская обувь.

[11] Единица измерения: 1 грвакан – 408 граммов.

ный ряд сменял фруктовый, а гомон стоял такой – хоть уши затыкай. На задворках площади, сразу за овощными рядами, располагался скотный двор, где царили свои, заведенные далекими предками маранцев строгие правила обмена. За корову там отдавали лошадь, годовалого мози[12] меняли на двух овец, за свинью можно было получить овцу и барана, за нетель – три козы, а за телившуюся корову – вола.

К базарному дню длинной вереницей вверх по склону Маниш-кара тянулись кибитки цыган – они разбивали свои разноцветные шатры за чертой деревни, приходили на мейдан шумной переливчатой толпой, безудержно торговались, обязательно норовили стянуть что-нибудь, но, пойманные за руку, со смехом расплачивались золотыми монетами, а потом разбредались по дворам – гадать на картах и выпрашивать ненужное старье. К вечеру, покончив с торговлей, цыгане уезжали, оставляя за собой дымный запах костров и далекое эхо бренчащих гитар.

К большим праздникам приезжал цирк на колесах, взрывал воздух призывным зовом зурны, натягивал над мейданом трос, запускал в воздух канатоходцев – те балансировали на такой высоте, что дух захватывало, а потом, отбросив в сторону шесты, крутили сальто, каждый раз безошибочно приземляясь узкими ступнями на верткий, норовящий выскользнуть из-под ног канат.

Внизу, расстелив в пыли линялые коврики, сидели темноликие желтоглазые заклинатели и дудели в свои тростниковые пунги, извлекая из них протяжные, завораживающие звуки. Наводя на зрителей священный ужас, качались в однообразном танце околдованные змеи, а вокруг, подметая базарную шелуху длинными юбками, бродили продавщицы восточных сластей, предлагая купить финики и пирожные с диковинным для этих широт сум аховым орехом.

Но то было в оны дни, давно и неправда, а теперь, забытая всеми и навсегда, деревня неприкаянно болталась, словно пустое коромысло, на плече Маниш-кара. Мейдан скукожился до размеров наперстка – несколько бедных прилавков да мерный стук игральных костей, день проходил в праздных разговорах и воспоминаниях, а к вечеру старики разбредались по домам, так ничего и не продав, каждый уносил свой товар – смысл менять шило на мыло, когда продукты у всех одинаковые. В наваре оставались только Кудаманц Василий и Шалваранц Ованес, у первого можно было наточить затупившийся садовый инвентарь или же выменять его с доплатой на новый, а у второго набить кисет табаком.

Кроме субботнего базара, можно было отовариться в лавке Немецанц Мукуча. Мукуч два раза в неделю запрягал телегу и отправлялся в долину, откуда привозил всего понемногу – сахар, соль, рис, фасоль, спички, мыло, рыбные консервы, кое-что из одежды, обувь – обязательно на заказ, с договоренностью вернуть, если не подойдет по размеру. Особенно выручал с аптечным товаром – бинты, вата, йод, зеленка-марганцовка.

Болезни в деревне лечили снадобьями и отварами, которые готовила Шлапканц Ясаман. К обычным лекарствам старики относилась настороженно и с явным неодобрением.

Возилась со своими отварами Ясаман каждый день, строго по утрам – до восхода солнца или же обязательно после заката. Пока жена заваривала в пристройке к погребу лечебные травы, Ованес взбивал два желтка с несколькими столовыми ложками сахарного песка в густую пену, заваривал крепкого чаю, а потом курил в распахнутое кухонное окно, рассматривая запутавшиеся в ветвях шелковицы бледные лоскутки прозрачного неба.

– Охай! – сопровождал он каждый глоток чая довольным возгласом.

Потом высовывался по пояс в окно и звал жену:

– Шлапканц! Ай Шлапканц! Слышишь, что я тебе говорю? Шлапканц Ясаман!

– Чего тебе, Шалваранц Ованес! – откликалась раздраженно Ясаман.

Ованес смеялся.

[12] Бычок.

Они были самой забавной в деревне парой. Шлапканц, то бишь из рода Шлапки[13], Ясаман и Шалваранц – из рода Шалвара[14] – Ованес.

Каждый род Марана имел свое прозвище. Чаще всего оно было смешным и забавным, иногда – ироничным, но изредка – очень обидным. Зависело название рода от того, каким делами – добрыми или недостойными – отличился человек, прозвище которого впоследствии переходило и на его потомков.

Прадед Ясаман, например, по молодости часто гостил у своего двоюродного брата, ведущего артиста одного из академических театров долины. Двоюродный брат водил его на спектакли, знакомил со светской жизнью, учил одеваться. Однажды прадед вернулся из долины в невиданном, можно сказать – вызывающем, на взгляд жителей Марана, головном уборе. На расспросы, что это такое он напялил, прадеде вызовом отвечал: «Шлапку!» За это его прозвали Шлапкой, а его потомков – Шлапканц.

Что касаемо клички рода Шалваранц, тут была совсем другая история. Дед Ованеса собрался на мировую войну, как на праздник, – закрутил усы, надвинул на лоб папаху, обмотался крест-накрест патронташем, надел новые, дорогущие брюки. Правда, до своего полка он так и не доехал, попал под обстрел. Шальным осколком ему изуродовало ногу ниже колена, рана оказалась настолько серьезной, что пришлось ампутировать часть ступни, а по окончании лечения демобилизовать его домой. В лазарете дед Ованеса почему-то убивался не по покалеченной ноге, а по новым брюкам, которые пришлось выкинуть.

– Шалварс, шалварс, – жаловался он сестрам милосердия и докторам. За что и был прозван Шалваром, а все его потомки стали Шалваранц.

В деревне шутили, что Ясаман и Ованес дополняют друг друга, как предметы гардероба.

Ованес очень любил посмеиваться над женой и часто называл ее не по имени, а просто Шлапканц. Ясаман, конечно же, в долгу не оставалась и тут же припоминала мужу историю его непутевого деда, который умудрился остаться инвалидом не провоевав ни одной минуты.

Вот и сегодня, обменявшись с женой дежурными любезностями, Ованес докурил самокрутку и собирался уже отойти от окна, как вдруг хлопнула калитка. Он вытянул шею, выглядывая раннего гостя. К дому, взвалив на плечо косу, шел кузнец Василий – высокий, крепкий мужик с большими, цвета погасшего пепла глазами и густыми кустистыми бровями. Выглядел он много моложе своих шестидесяти семи лет: подтянутый, седой, с могучими плечами и огромными необоримыми кулачищами – однажды, еще в годы молодости, он умудрился даже на спор убить быка Немецанц Мукуча. Пришлось потом Мукучу, чертыхаясь, пустить мясо животного на кавурму, спросить с Василия денег не хватило смелости, да и смысл спрашивать, когда сам, дурак безмозглый, полез спорить и с пеной у рта доказывать, что ударом кулака быка не свалить.

– Хочешь покажу? – усмехнулся Василий.

– Хочу!

Василий снял жилетку, закатал выше локтя рукава архалука, прошел под навес, где, крепко привязанный к вбитому в землю штырю, фырчал и мотал лобастой башкой огромный иссиня-черный бык.

– Не пожалеешь? – зашушукались за спиной Мукуча односельчане.

Тот вместо ответа пренебрежительно хмыкнул. Василий еще раз усмехнулся, занес над быком кулак – и свалил его точным ударом в затылок. После того случая никто из деревенских мужиков на кулачные бои с ним не нарывался, да и спорить не лез. Немногословный, всегда тихий – пока не спросишь, не заговорит, – Василий был из той породы мужчин, которые умели одним своим упертым видом вызвать непререкаемое уважение людей.

---

[13] Шляпа (*искаж.*).

[14] *Шалвар* – брюки.

– С бровей аж захрмар[15] капает! – почтительно цокая языком, говорили о таких маранцы.

Василий, будучи от природы скромным человеком, уважительное отношение односельчан воспринимал с иронией, но виду не подавал. Был угрюм, иногда даже груб и несговорчив, но клиентов его напускная неотесанность не пугала – кузнецом он слыл знатным, да и человеком совестливым, если у покупателя не было возможности расплатиться, соглашался ждать, сколько потребуется. В должниках у него ходила вся деревня, но никому о деньгах он не напоминал. После войны его кузница простаивала, работы было ничтожно мало, но он не роптал, «как все, так и мы», – отвечал на вечные жалобы жены на нехватку средств, чем неизменно выводил ее из себя. Якуличанц Магтахинэ, с которой Василий прожил почти полвека, была женщиной аккуратной и работящей, но чрезмерно говорливой, разойдясь, могла сыпать словами бесконечно, делая секундные паузы лишь для того, чтобы набрать побольше воздуха в легкие, Василий терпел-терпел, потом брал ее за локоть, отводил в дальнюю комнату и запирал на засов.

– Как выговоришься, дай знать!

Распаленная беспардонным отношением мужа, Магтахинэ принималась громко, так, чтобы слышно было, в первую очередь, ему, жаловаться на свою никчемную судьбу, на отца с матерью, которые, чтобы отделаться от нее, выдали замуж за этого неотесанного чурбана, хотя остальных своих дочерей они устроили в приличные семьи, особенно младшую, любимицу Шушаник, ей, кстати, собрали самое богатое приданое – три ковра, два сундука с бельем, участок плодоносной земли, три коровы, свиноматку и двадцать несушек и золота столько, что если бы она навесила его разом, то переломила бы свой жалкий хребет, а Магтахинэ выделили на приданое в два раза меньше всего, и украшений не золотых, а серебряных, но время все расставило по своим местам, остальные дети, не иначе как в наказание за несправедливое отношение родителей к Магтахинэ, покинули мир первыми, старшие сестры не пережили голода, единственный брат погиб от удара молнии, а любимица Шушаник вообще умерла от тяжелого приступа сердечной жабы, захлебнувшись рвотой, так что пришлось родителям до конца своих дней надеяться на Магтахинэ, и она, конечно же, не подвела, всегда была рядом, преданная и любящая, ухаживала и оберегала, выносила за отцом, когда у него совсем отнялись ноги, горшок, прикладывала горячие уксусные компрессы к пяткам матери, чтобы унять бесконечные приступы мигрени, участившиеся после того, как покинула бренный мир Шушаник, но потом умерли отец с матерью, отец ушел первым, в день шестидесятилетия дочери, и теперь каждый свой день рождения она проводит на кладбище, ухаживая за его могилой, а следом за отцом ушла мать, предварительно вымотав дочери последние нервы, потому что к концу

[15] Змеиный яд *(перс.)*.

жизни она умудрилась безвозвратно двинуться головой, ходила под себя, а потом разрисовывала этим добром стены и полы, пришлось запереть ее в комнате, чтобы она не распространяла свои художества по всему дому, когда она умерла, Магтахинэ собственноручно снимала штукатурку, чтобы заново отремонтировать комнату, и росписи на этих несчастных четырех стенах было немало, кишечнику покойной, в отличие от мозгов, работал исправно и безотказно, ну еще бы, испражняться – не головой думать, но теперь, когда все родные умерли, она осталась совсем одна, если не считать мужа-чурбана, с которым даже двумя словами не перекинешься, раньше с матерью можно было через запертую дверь поговорить, она хоть и выжила из ума, но умела поддержать разговор, ты ей одно, она тебе другое и невпопад, но хоть какое-то живое общение и участие, и за что ей выпала такая горькая планида, быть недолюбленной всеми и уйти нелюбимой, как та старая собака, которую и пристрелить жалко, и кормить не с руки, все равно ведь подохнет!

Немного отведя душу, Магтахинэ, кряхтя, вылезала в окно и, сыпля проклятиями, осторожно нащупывая каждую ступеньку подошвой изношенной туфли, спускалась по деревянной лестнице, которую всегда держала под подоконником комнаты, где ее запирал муж. Василий к тому времени сидел в кузне, коротая праздный день, и, попыхивая трубкой, вспоминал годы, когда работы было столько, что спины не разогнуть, а загруженная домашними хлопотами жена была тиха и кротка, как снежная ночь.

Магтахинэ была уверена, что переживет мужа, так всегда и говорила ему – что я буду делать, когда ты умрешь, но получилось совсем наоборот: полезла в самый солнцепек пропалывать грядки – и упала замертво, сраженная кровоизлиянием в мозг. Василий оплакивал ее, мучительно долго привыкая к душной тишине, разлившейся вязкой тиной по дому. Несмотря на занозливый характер, Магтахинэ была хорошей женой, не сказать что ласковая, как раз ласки ему всю жизнь не хватало, но преданная и заботливая, и всегда рядом, в горе и в радости, в достатке и в нищете.

С хозяйством теперь помогала телеграфистка Сатеник, приходившаяся Василию троюродной сестрой. Она надоумила его обратить внимание на Севоянц Анатолию. Василий сначала пропускал ее слова мимо ушей, но сестра не унималась – ей-де самой почти восемьдесят, сегодня она есть, а завтра ее нет, а брат, может, и хороший мастер кузнечных дел, но в хозяйстве как дитя малое, ни приготовить, ни постирать не умеет, да и одиночество для мужика пуще самой страшной болезни, а Анатолия молодая еще, красивая, опять же одинокая и молчаливая, как он любит, так почему бы им не сойтись?

– И главное, – выдвинула самый весомый аргумент Сатеник, – умненькая, вон сколько книг прочитала!

Сестра, конечно же, знала, на что надавить. Василий с детства питал огромное уважение к образованным людям. Будучи безграмотным крестьянином – школы в те годы в Маране не было, а нищая мать не смогла бы оплатить его обучение в долине, – он из кожи вон лез, чтобы дать хорошее образование сыновьям. Да и надежды самому научиться грамоте не терял. Одно время в Маране собирались открыть вечернюю школу, чему Василий несказанно был рад, но потом случился голод, выкосивший половину населения деревни, и разговоры о вечерней школе, прекратились.

Война отняла у него младшего брата и сыновей. Сыновей забрали на фронт из учебной академии, так что у Василия и Магтахинэ не было возможности даже попрощаться с ними. А брата забрали прямо из кузни. Василий до сих пор помнил его взгляд – растерянный, враз ставший детским – и воздетую вверх ладонь левой руки с глубоким шрамом там, где кривая линия жизни, огибая большой палец, уходила вбок. Шрам остался после того, как Василий, не удержав форму с расплавленным металлом, выронил ее на землю. Одна из брызнувших капель, угодив брату в ладонь, прожгла ее почти насквозь. Рана заживала долго и мучительно, гноилась и кровила, Шлапканц Ясаман извела на нее все запасы своих лечебных мазей. К тому времени,

когда ожог, наконец, зарубцевался, и брат снова смог взяться за кузнечный молот, подоспела война. У Василия немела ладонь каждый раз, когда он вспоминал о брате. Он хмурился, кряхтел, нарочито долго тер руку, скрипел желваками и часто моргал – чтобы отогнать слезы. О сыновьях своих он никогда не вспоминал – запретил себе раз и навсегда, еле оправившись от той чудовищной боли, которую пережил, получив известие об их гибели. Он и жене запретил упоминать имена сыновей в своих бесконечных монологах.

– Вот когда умрем и встретимся с ними, тогда и наговоримся.

Магтахинэ неожиданно легко согласилась и никогда при муже не произносила их имен, Василий, тронутый ее сговорчивостью, какое-то время терпеливо сносил ее безбрежный словопоток, пока однажды, вернувшись домой раньше обычного времени, не обнаружил жену стоящей перед зеркалом с фотокарточками сыновей в руках – мерно раскачиваясь и переводя взгляд с одной фотографии на другую, она жаловалась на свою судьбу: на их немощного деда, прикованного к креслу-качалке, сиденье которого Василий переоборудовал таким образом, чтобы можно было отодвинуть в сторону заслонку и подставить горшок, не поднимая старика, Магтахинэ пришлось перешить ему штаны, чтобы он справлял нужду не снимая их, по-другому никак, жаловалась она, мне его не поднять, а подсобить некому, отец ваш пропадает в своей кузне с восхода и до самого заката, а от бабки толку никакого, только и знает, что шастать по соседям да сплетни собирать, странная какая-то стала, это ей не так и то не эдак, иногда грешным делом думаю, что она головой тронулась, на днях застала ее в погребе, сидит в уголочке, чуть ли глазами мне не светит, пережидаю, говорит, ветер, я ей говорю – какой ветер, мама, она мне в ответ – тебе не понять какой, я ей говорю – куда уж мне с моим недалеким умом тебя понять, другое дело твоя любимая Шушаник, а она как услышала имя вашей младшей тетки, как вскочила, как заверещала, как заметалась по погребу, чуть все карасы не перебила, угомонила я ее кое-как, привела домой, напоила мятным чаем, натерла виски тутовкой, она вроде успокоилась, месяц тихая была, а вчера снова учудила – пришла к Ейбоганц Валинке, встала на пороге ее дома, зови, говорит, твою мать, есть у меня к ней разговор, это она с Ейбоганц Катинкой собралась пообщаться, которая преставилась чуть ли не пол века назад, хорошо, что Валинка на ее слова не обиделась, сразу поняла, что на ясную голову человек такое вытворять не будет, завела ее в комнату, усадила на тахту, подожди, говорит, немного, сейчас позову свою маму, а сама прибежала ко мне, мол, так и так, Магтахинэ, мать твоя, кажется, не в себе, пришли мы к ней, а бабка ваша сидит на полу обложившись мутаками, словно шахиня, подайте нам, говорит, халвы с кунжутом и грвакан изюма, да проследите, чтобы изюм был без косточек, а потом поворачивается к голой стене и начинает разговаривать с ней, называя ее Катинкой.

На следующее утро, улучив минуту, когда жена ушла в огород, Василий завернул фотокарточки сыновей в газету, отнес Сатеник и попросил спрятать в таком месте, где до них не сможет добраться Магтахинэ. Сатеник забрала у него сверток, только спросила, зачем он так сурово поступает с женой.

– Она мне всю плешь жалобами проела, а теперь за сыновей взялась. Не дам их покой тревожить! – отрезал Василий.

Сатеник долго ходила по дому в поисках укромного места, в итоге положила фотографии в металлическую баночку из-под монпансье и убрала на самое дно бельевого сундука, под ситцевые мешочки с сушеной лавандой и нафталином. Обнаружив пропажу, Магтахинэ поостереглась устраивать мужу скандал, прибежала с жалобами к золовке. Сатеник пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выдать себя. После долгих увещеваний ей удалось убедить невестку не заводить с Василием разговор о пропавших фотокарточках. Магтахинэ к ее совету прислушалась, но затаила на мужа большую обиду и в отместку обогатила полноводное течение своих бесконечных сетований новыми туманными намеками на то, что даже самому бездушному чурбану не под силу стереть образы любимых людей из ее сердца, потому что оно у нее большое и бездонное, не под стать жалким сердцам тех, кто способен без зазрения совести

унести из дома самое дорогое, что было, есть и будет у каждой самоотверженной, любящей и несчастной матери, и если эти черствые сердцем люди умеют запереть свое горе под замок, то она этого сделать не в состоянии, потому что силы у нее на исходе, и душа ее – что тот зверь, угодивший в капкан, которому не освободиться и не умереть, а лишь униженно ждать своей неминучей и страшной кончины. Василий сносил ее жалобы молча, хмурился и кряхтел, уходил в кузницу, сидел возле холодной печи допоздна, дымил трубкой и без конца потирал левую ладонь – в тщетной попытке унять ноющую боль.

После смерти Магтахинэ Сатеник собиралась вернуть брату фотокарточки сыновей, но потом решила повременить – пусть сначала он немного опомнится от горя. И теперь эти снимки, благодаря жестяной коробке из-под монпансье благополучно пережившие холод и нашествие плесени, перекочевали из бельевого сундука в деревянную шкатулку и терпеливо ждали часа своего возвращения под отцовское крыло.

Меж тем Сатеник взялась устраивать личную жизнь брата. Первым делом она перекинулась несколькими словами со Шлапканц Ясаман. Обрадованная возможностью положить конец одиночеству подруги, Ясаман обещала поговорить с Анатолией. Заручившись ее поддержкой, Сатеник принялась уговаривать брата. Василий сначала отмахивался, не принимая ее слова всерьез, но потом скрепя сердце согласился, потому что сам отлично знал, что мало чего найдется на свете мучительнее одинокой старости.

Относился Василий к Анатолии с большим уважением, несколько раз, еще до войны, намеревался заглянуть в библиотеку, чтобы выпросить себе самоучитель по чтению, но всегда, досадно робея, проходил мимо, оттого что однажды видел, как Анатолия, обмотав метлу ветошью и обильно намочив ее в слабом растворе уксуса, моет каменную стену под ласточкиными гнездами, бережно обводя каждое гнездо по низу, чтобы нечаянно не зацепить его и не обрушить. Вспомнил себя, молодого и пустоголового, способного на спор убить ни в чем не повинного быка, – и усовестился. Вот она, разница между человеком грамотным и неграмотным, думал Василий, уходя прочь от библиотеки в свою жаркую кузницу, грамотный боится порушить пустое гнездо, а неграмотный готов дух из невинной животины вышибить, лишь бы доказать свою дурную силу.

– Она умная, начитанная, зачем ей такой неотесанный чурбан, как я! – поделился он своими сомнениями с троюродной сестрой.

– Муж тоже у нее умный и начитанный был? – хмыкала Сатеник. – Этот бездушный ирод ее смертным боем бил, а она, такая грамотная, терпела. Посмотри на себя – ты порядочный, работящий, надежный. Ни разу на Магтахинэ руки не поднял, хотя она, царствие ей небесное, много раз напрашивалась на приличный нагоняй. Грамотность, Васоджан, не тут должна быть, – Сатеник постучала пальцем по лбу брата, – а вот здесь, в сердце, – и она приложила ладонь к его груди.

Уступив ее уговорам и, дождавшись, когда табак выйдет, Василий засобирался к Ованесу. Прикупил курева, заодно, запинаясь и смущенно откашливаясь, спросил об Анатолии. Ованес не дал ему договорить:

– Я буду только рад, если вы сойдетесь. Правда, Ясаман говорит, что Анатолия не настроена на новый брак, но ты же знаешь женщин. Сегодня у них одно на уме, завтра – обратное. Дай ей время пообвыкнуться с этой мыслью. Там видно будет.

С того дня Василий часто заглядывал к Ованесу и Ясаман, поговорить о том о сем и в нарды перекинуться. Однажды он застал у них Анатолию, вежливо поздоровался, но та, отчего-то расстроившись, взяла у Ясаман соли и заторопилась уходить.

– Дочка, ты вроде жаловалась, что коса притупилась, попроси Василия наточить ее, – сделал попытку задержать ее Ованес.

– Спасибо, не надо, я уже наточила, – мягко отказалась Анатолия и направилась к входной двери.

– Упрямая, как ишак. Вся в своего отца, – дождавшись, когда она уйдет, развел руками Ованес.

– Она дочь своего отца, а я – сын своего. Посмотрим, кто кого, – хмыкнул Василий.

Ованес тогда хлопнул себя по коленям и рассмеялся. А теперь, пряча улыбку в бороду, наблюдал, как бликуют на солнце тщательно наточенное острие и отполированная до блеска рукоять косы, которую Василий нес на своем плече.

– Я смотрю, с гостинцем пришел, – крякнул Ованес.

Василий пошел вверх по лестнице, цепляя лезвием косы виноградную лозу, увивающую перила и деревянные подпорки веранды.

– Может, внизу оставишь инструмент? – не вытерпел Ованес.

Василий смешался, снял с плеча косу, прислонил ее к перилам таким образом, чтобы она не опрокинулась.

– Я это. К Анатолии собрался. Косу ей новую сделал, раз старая затупилась.

– А чего домом промахнулся?

– Да вот… Вчера к заходу солнца зашел – а у нее свет везде погашен. Пришел с утра – птица не выпущена из курятника и двор сухой, видно, что водой не обрызгивали и не подметали. Постучался в дверь – не открывает.

– Ну, может, спит еще.

– Может, и спит. Я чего хотел попросить, Ованес. Пусть Ясаман сходит к ней, узнает, как она там.

– Она травы заваривает. Закончит – сходит. Но вообще, – проговорил со значением Ованес, – я бы на твоем месте сам это дело до конца довел, раз, слава богу, все-таки решился.

Василий почесал затылок, снова взвалил на плечо косу.

– Пойду постучусь еще раз.

– Косу хотя бы оставь. Ходишь с ней, как привязанный. Никуда она не денется, потом отнесешь.

– Нет, я лучше так.

– Нуда, с инструментом сподручней женихаться.

– Чего?

– Говорю – удачи. Зайди потом, расскажи, чего там у тебя вышло.

Дождавшись, когда Василий скроется за калиткой, Ованес нацепил трехи, заправил внутрь шнурки, чтобы не путались под ногами, и заторопился в подсобку – к жене. Ясаман как раз процеживала через марлю в бутыль темного стекла остывший отвар. В комнате крепко пахло сухими травами и кизиловой самогонкой, на которой она неизменно настаивала лечебные снадобья.

– Слышишь, Ясаман. – Ованес тщательно притворил за собой дверь, чтобы не пропустить в помещение губительные для настоек солнечные лучи.

– С кем это ты там разговаривал?

– С Василием. Говорит – Анатолия ему дверь не открывает.

– Как это не открывает?

– А вот так. Видно, косы испугалась.

Ясаман замерла с ситечком в руке.

– Какой косы?

– Той косы, с которой он к ней в гости заявился. Надоело ждать, пока она проникнется к нему благосклонностью, вот и пришел с инструментом. Мол, откажешь – головы не снесешь.

Ясаман фыркнула, покосилась на мужа. Тот с невозмутимым видом рассматривал на просвет бутыль с отваром. Потом поставил ее обратно на полку, хмыкнул.

– Собирался идти поливать табак, но придется дождаться возвращения Василия. Хочется знать, чем все закончится.

– Хоть бы он ее убедил, – вздохнула Ясаман.

Глава 3

Каждый раз, когда отец, припадая на левую ногу и делая резкий, широкий замах правой рукой, скашивал новый ряд травы, Анатолия видела, как напрягаются под архалуком и заправленными в голенища сапог брюками его мышцы. «Поди неудобно работать, когда одежда так плотно прилегает к телу», – подумала она. Шел дождь – сильный, но на удивление легкий, лил, словно сквозь проходил. Анатолия подставила ладони, ощутила его прикосновение робким дыханием теленка Груши, которому в детстве каждое утро приносила морковки, – съев угощение, теленок ласково дышал ей в ладони и глядел большими влажными глазами в пушистых белесых ресницах.

– Гру-у-ша, – умилялась Анатолия, – Гру-уша.

– М-ы-ы-у, – отвечал, вздрагивая большими ушами, теленок, – м-ы-ы-у.

Анатолия вдохнула полной грудью влажный воздух – голова закружилась от острого запаха ранних яблок: крохотных, нежно-румяных, с розовыми разводами на срезе и ярко-малиновыми косточками, мама варила из этих яблок варенье – душистое, на меду и корице, старшая сестра подхватывала из миски за длинный хвостик яблочко, подставляла ладонь, чтобы не капнуть соком на пол, протягивала ей – ешь.

Дождь шел так, словно смывал все горести. Гладил по волосам, обнимал за плечи, щекотал затылок. Анатолия подставила ему лицо, но глаза не закрывала, чтобы не терять из виду отца. Порадовалась тому, как он верно подгадал время для работы, ведь косить траву легче всего в мокрую погоду.

– А-ай-йрик! – позвала она нараспев. – А-а-йрик![16]

Отец ее не слышал. Мерно, без видимых усилий размахивая девятиручной тяжеленной косой, он продвигался к краю поля – такими большими, в девять обхватов клинка инструментами работали только исполинского роста и силы мужчины, которых в Маране называли аждааками, то бишь великанами. Севоянц Капитон, наверное, и впрямь был из рода аждааков – могучий, двухметроворостый, несгибаемый, как скала, с такими широченными плечами, что на одно усаживал двух старших дочерей, на другое – Воске с Анатолией и кружил их, захлебывающихся в счастливом визге по двору, под испуганные причитания старенькой бабо Манэ – только не урони их, Капитон-джан, только не урони.

– Не уроню, – смеялся Капитон.

[16] Айрик – отец (арм.).

Дождь ниспадал целительным потоком, обволакивал, убаюкивал, тянул за плечи назад, туда, где было шумно и неуютно, куда не хотелось оборачиваться и не хотелось возвращаться. Водяные струи становились плотнее и гуще, мешали Анатолии разглядеть отца – она забеспокоилась, попыталась сделать шаг к нему, но ноги не слушались, шум за спиной, сначала едва различимый, – усиливался, нарастал и, наконец, преодолев какие-то неведомые преграды, достиг ее, завертев в вихре настойчивого, протяжного, отчаянного зова:

– Анатолия! Ай Анатолия! А-на-то-ли-я!

Анатолия открыла глаза. И сразу разглядела раскачивающуюся на сквозняке тонкую нить паутины, свисающую с деревянной балки потолка. Бабо Манэ бы заругала – у хорошей хозяйки не может быть паутины под потолками, хорошая хозяйка хотя бы через день должна проходиться по верхним углам комнаты шваброй, обмотанной сухой тканью, чтоб не прослыть потом на всю деревню неряхой.

Она зарылась лицом в ладони, тяжело вздохнула. Не умерла.

Откинула одеяло, с превеликой осторожностью села. Предусмотрительно подстеленная клеенка была испачкана кровью почти до краев, мокрая ночная рубашка задралась кверху. Бушах шумело, во рту остро отдавало неприятной горечью. Она поморщилась, налила в стакан воды, выпила. Головокружение немного унялось, но поясницу ломило так, словно вчерашний день она не в постели провела, а провозилась в огороде. Анатолия кинула взгляд на замерший у самого края подоконника солнечный луч и подивилась тому, что умудрилась проспать почти до полудня. Собралась уже подниматься, как вдруг услышала в соседней комнате шаги. Только успела откинуться на подушки и прикрыться одеялом, как в дверь раздался негромкий стук.

– Анатолия? Это Василий.

Анатолия испугалась. Наверное, с какой-нибудь дурной вестью пришел.

– Случилось чего? – спросила она.

Дверь скрипнула, приоткрылась совсем чуть-чуть.

– Я стучал-стучал, но все без толку. Пошел вокруг дома, вижу – окно открыто. Звал тебя, но ты не отвечала. Решил зайти, мало ли, вдруг помощь нужна.

Анатолия вздохнула. Вот чей настойчивый зов вернул ее к жизни. Она села, сдернула со спинки стула жакет, надела его, застегнулась на все пуговицы, провела рукой по волосам, приводя их в порядок. Поправила одеяло так, чтобы оно прикрывало всю простыню.

– Заходи, раз пришел.

За дверью зашебаршились. Далее обе ее створки распахнулась до упора и впустили в комнату остро заточенный клинок косы. Обомлевшая Анатолия молча наблюдала, как Василий, стараясь не зацепить шкаф с бельем, оборачивает косу вниз клинком и прислоняет к стене. Потом он повернулся к ней, коротко кивнул:

– Доброе утро.

Она осторожно кивнула в ответ, не отрывая изумленного взгляда от косы.

– Заболела? Может, к Ясаман за снадобьем сходить? – спросил Василий.

Анатолия покачала головой и медленно перевела взгляд на ступни гостя. Входя в дом, он разулся и теперь стоял перед ней в разных носках – один коричневый, а второй и вовсе разноцветный – в синюю, желтую и зеленую полоску. Василий проследил за ее взглядом, окончательно сконфузился. Пробубнив «надел первое, что попалось под руку», он растерянно потоптался на месте, попытался было убрать пудовые ручищи в карманы брюк, но, потерпев фиаско, спрятал их за спиной. Нахмурился.

– Тогда я пошел?

– А приходил чего? – обрела наконец дар речи Анатолия.

– Косу принес в подарок. – Василий смущенно крякнул и, раздосадованный собственной нерешительностью, сердито добавил: – Ну и замуж хотел позвать.

Анатолия закатила глаза. Ходил кругами, ходил, то к Ованесу заглянет – якобы в нарды поиграть, то Ясаман подобьет поговорить с ней. Теперь сам явился и новую косу зачем-то притащил. Стоит, словно пепла на хвост насыпали – и стряхнуть охота, и мусорить не хочется.

Каждый житель Марана знал всю подноготную остальных своих односельчан, для каждого они были словно на ладони – со всеми своими горестями, обидами, болезнями и редкими, но такими долгожданными радостями. Отношение друг к другу в деревне было участливо-сродное, подразумевающее добрососедство, и ничего более. Анатолия не могла взять в толк, с какой стати Василию пришло в голову порушить этот мерный распорядок жизни. Вся его взрослая жизнь – с того самого осеннего утра, когда она девятнадцатилетней девушкой вернулась в отцовский дом (именно в тот день у Василия родился первенец), и до того дня, когда умерла Магтахинэ, оставив его одиноким вдовцом, – протекала перед ее глазами. Ничего, кроме родственного расположения, она к нему не испытывала и сходиться с ним не собиралась. Но и расстраивать его она тоже совестилась – вон, набычился, глядит исподлобья своими большими, чуть навыкате, цвета остывшей золы глазами – и сокрушенно молчит.

Встревоженный ее долгим безмолвием Василий, не сводя напряженного взгляда с растерянного лица Анатолии, думал, что если она ему откажет, то, не откладывая дел в долгий ящик, он придет к троюродной сестре на телеграф и выдернет ей позвоночник, чтобы она не подбивала его больше на всякую дурость. Скрипел себе последние три года вдовцом и дальше проскрипит. Люди калеками свой одинокий век доживают и не жалуются. А ему чего роптать, слава богу, руки-ноги на месте, и голова еще варит.

Тянуть дальше с ответом не имело смысла – Василий наливался грозовыми тучами буквально на глазах, так что Анатолия решилась. Все одно ее скоро не станет, пусть хотя бы не держит на нее зла за то, что она ему отказала. Собрав всю волю в кулак, она коротко улыбнулась и кивнула.

– В смысле да? – обомлел Василий.

– Да, – просто ответила Анатолия.

Василий смешался. Тщательно разработав пути отступления при неблагоприятном стечении обстоятельств, реакции на положительный ответ он почему-то не предусмотрел. Оттого стоял сейчас, словно громом пораженный, только воздух ртом хватал.

– Никак передумал? – рассмеялась Анатолия.

– Да нет! – отмер, наконец, Василий, смущенно кхекнул и заторопился к выходу. – Пойду на телеграф, Сатеник приведу.

– Зачем?

– Свататься. Чтобы все по чину, по традиции.

– Нам ведь с тобой не по двадцать лет, – мягко возразила Анатолия. – Давай обойдемся без церемоний.

– Раз без церемоний, чего тогда тянуть? – приободрился Василий. – Собирай свои вещи, переедешь ко мне.

– Нет. Жить мы будем в моем доме. Я так хочу.

– Как скажешь. Пойду тогда свои вещи соберу. Вечером перенесу к тебе.

Анатолия просяще подняла руку.

– Дай мне хотя бы два дня.

– Зачем?

– Ну… свыкнуться. И дом подготовить к твоему переезду.

– Ладно, пусть будет по-твоему.

Василий поднял косу, взвалил ее на плечо.

– Где у тебя инструмент хранится?

– В большом погребе. Как спустишься по лестнице, поворачивай направо.

– Отнесу. И Ясаман с Ованесом предупрежу, что все у тебя в порядке. Переполошились небось.

– С чего это переполошились?

– А я знаю?

– Передай, что я попозже загляну к ним.

– Тогда и я к ним загляну. – И Василий, прикрыв за собой дверь, вышел из комнаты.

Анатолия прислушивалась к его удаляющимся шагам. Ее мучили угрызения совести, но поступить по-другому она не могла, главное, что сейчас ей было нужно, – выпроводить непрошеного гостя. Поэтому и подыграла ему. Ничего, не маленький, переживет. Она откинула одеяло и осторожно поднялась. Первым делом, морщась, еле сдерживая рвотные позывы, сняла с себя испачканную одежду. Никогда прежде, даже в те годы, когда каждое новое женское недомогание по крупице убивало ее надежду забеременеть, она не испытывала такого необъяснимого отвращения к собственному телу, как сейчас. Всю жизнь промучилась с менструациями – прекратились они только к пятидесяти годам, вымотав ей последние нервы, и протекали всегда с такими чудовищными болями, что каждый раз Анатолии хотелось наложить на себя руки, лишь бы не испытать их вновь. Смесь из гусиного жира и настойки перца, которую она исправно наносила на низ живота, облегчения не приносила, отвары Ясаман тоже не помогали, Анатолия обматывалась пуховым платком и проводила четыре долгих дня скрюченной на стуле – в сидячем положении боль становилась чуть терпимее. Переносила она эту ежемесячную пытку стоически, никогда не роптала. Лишь изредка, доведенная не столько болью, сколько обидой до отчаяния, плакала на плече Ясаман. Что случилось с ней теперь, спустя восемь лет с последних женских недомоганий, она не знала, но и не беспокоилась – смысл волноваться, когда жить осталось в лучшем случае считаные часы.

Времени на раздумья не было, нужно было приводить себя в порядок. Анатолия задышала медленно и глубоко, унимая тошноту. Чтобы легче справиться с головокружением, прикрыла глаза и пошла, держась за стену. Добравшись до кухни, первым делом поискала съестное. Нашла на полке забытую баночку с остатками розового варенья, доела его, не ощущая вкуса. Сладкое придало ей немного сил. Она помылась, оделась в чистое. Обвязала мокрые волосы косынкой, посидела, давая себе отдохнуть. Перестелила постель. Потом натаскала из дождевой бочки воды, распустила в ней щепоть соды, чтобы легче было смыть пятна, замочила испачканное белье. Выпустила домашнюю птицу из курятника, нарвала пучок мелиссы. Сходила в погреб – за медом. Новая коса висела на штыре, а затупившаяся старая исчезла – видно, Василий забрал ее с собой, чтобы починить. Угрызения совести снова закопошились в душе, но Анатолия отмахнулась от них – не время для переживаний. Забрала плошку с медом и пошла в дом. Приготовит лимонад на мелиссе и меду, заест его кусочком хлеба – этого будет вполне достаточно, чтобы немного продержаться.

Ясаман заглянула к ней, когда она вывешивала во дворе постиранное белье.

– Не дождалась тебя, сама пришла, – сказала она вместо приветствия.

– Закрутилась с работой по дому, уже заканчиваю, – ответила Анатолия.

Ясаман окинула ее обеспокоенным взглядом.

– Какая-то ты сегодня бледная. Голова не болит?

– Не выспалась, оттого и бледная.

– Может, мятного настоя тебе принести?

– Спасибо, не надо, я уже приготовила.

Покончив с церемониями, Ясаман стала руки в боки, наклонила голову к плечу – она всегда так делала, когда выступала с претензиями.

– Василий заглядывал. Сказал, что вы договорились. А ты молчишь, ничего не говоришь.

– Так!

– Ты не такай, ты рассказывай.

Анатолия развязала косынку, распустила наспех заплетенную косу – чтобы волосы быстрей высохли. Подняла с земли таз, в котором принесла выстиранное белье, но уносить его в чулан не стала – прислонила к поленнице. Будет потом куда сухое белье складывать.

– Рассказывать нечего, Ясаман. Он меня замуж позвал, а я согласилась. Все одно не отстанете, пока я не сойдусь с ним, верно говорю?

– Верно, – согласилась Ясаман.

– Вот я и уступила.

– И правильно сделала. Василий хороший, достойный мужик. Зачем вам обоим в одиночестве куковать?

– Пошли в дом, а то на солнцепеке стоим, – желая перевести разговор на другую тему, предложила Анатолия, но тут же вспомнила, что в гостиной, на самом видном месте, лежит стопка смёртного. Ясаман, в отличие от Василия, мигом смекнет, к чему этот комплект одежды на столешнице.

– Нет, давай лучше на веранде посидим, в доме душно, – быстро нашлась она. – Хочешь лимонаду? Угостить тебя больше нечем – не успела обед приготовить.

– Пошли лучше к нам. Я тесто поставила, пирог с сыром буду печь. И свекольной ботвы с мокрицей нарвала. Поможешь мне приготовить с чесноком и мацуном. Как раз к возвращению Ованеса и успеем. Да и Василий обещал зайти, – и Ясаман с хитрой улыбкой уставилась на подругу, но сразу же посерьезнела: – Не нравится мне цвет твоего лица, уж больно ты сегодня бледная.

Стирка отняла последние силы, и единственное, чего хотелось сейчас Анатолии, – это полежать в тишине и спокойствии. Но деваться ей было некуда, отказом она встревожила бы Ясаман еще больше. Поэтому она, ничего не говоря, направилась к калитке. Продержится как-нибудь.

Первым делом Ясаман напоила ее настоем зверобоя и заставила съесть немного меда в сотах, строго велев не выплевывать воск, а проглотить его. От настоя Анатолии стало гораздо лучше, унялся шум в ушах и прекратило мутить, но усилилась жажда, мучившая ее с самого утра. Она попросила воды, но пила ее мелкими глотками, боялась, что кровотечение снова наберет силу.

На кухне у соседей вкусно пахло взошедшим тестом – Анатолия всегда любила его кисловатый, отдающий сыростью и прохладой аромат. Пока Ясаман возилась с сырным пирогом, она перебрала мокрицу и свекольную ботву, тщательно промыла в холодной воде и приступила к готовке – потушила в топленом масле большой пучок молодого лука, добавила туда порубленную зелень, накрыла крышкой. Как только трава пустила сок и почти закипела – убрала с огня, посолила и оставила доходить в стороне. Почистила несколько зубчиков чеснока, кинула в каменную ступку, посолила крупной солью, измельчила в кашицу, добавила холодного мацуна, взбила – тоже отложила. Пока суть да дело, мацун напитается ароматом чеснока, и тогда можно будет полить чесночным соусом тушеную зелень.

Время до прихода мужчин подруги провели на веранде. Виноградная лоза, цепляясь тонкими усиками за тяжелые деревянные балки, тянулась вверх – к шиферной крыше. На кухне остывал пирог с румяной сырной корочкой, в саду, перепутав вечер с ночью, разливал печальную песнь одинокий сверчок, солнце медленно катилось к закату, прячась за редкие облака, словно примеряя, а затем отвергая то один, то другой облачный наряд. Анатолия сидела, привалившись спиной к прохладной каменной стене, Ясаман напевала под нос оровел[17].

– Отец приснился, – призналась Анатолия.

Ясаман прервала пение, но головы не повернула, только сложила на груди руки.

– Что-то говорил? – спросила она после минутного молчания.

[17] Песнь пахаря (*арм.*).

– Нет. Даже не посмотрел в мою сторону.

Ясаман с видимым облегчением расплела руки.

– Сегодня какой день недели?

– Четверг.

– Четверг – добрый день.

Снам маранцы придавали особое значение. Пересказывали друг другу, стараясь разгадать тайный смысл, который те в себе несли. Обязательно уточняли день недели. Если воскресенье, то незачем волноваться – воскресный сон праздный, ничего не сулит и не обещает. А вот со вторника на среду нужно запоминать все, что увидел, потому что именно в среду, между первым и вторым криком петуха, приходят вещие сны.

– Знать бы, как он там, – вздохнула Анатолия.

– Раз приснился, значит, хорошо.

– Ты думаешь?

– Я говорю, как понимаю.

– Значит – щадишь меня.

– Разве только тебя щажу? И себя щажу.

Майским вечером небо низкое и вязкое, в черничный перелив. Если поводить по нему пальцем, испуганно расступится волнами, обнажая мягко-бархатное, живое нутро.

– Пока не умрем, не узнаем, как они там, без нас, – прошептала куда-то вверх Анатолия.

Ясаман сдержанно кивнула. Сдернула с подлокотника тахты сложенный вчетверо плед, провела корявым пальцем по прохудившемуся боковому шву. Надо будет заштопать, а то еще одной стирки не переживет.

Глава 4

«Человеческая память избирательна. До смерти обидишься, но сразу же забудешь о том, как мать немилосердно высекла тебя палкой для взбивания шерсти за уведенное из соседского сарая колесо. Телега давно почила в бозе, а колесо осталось – большое, круглое, крепкое. Выпустил его вниз по щербатой деревенской дороге – и летишь следом, с восторгом и замиранием сердца перепрыгивая через матовые от желтой глины дождевые лужи. Матери обиду простил и забыл, а соседу Унану – огромному мужику с мохнатыми бровями и свирепыми челюстями – никогда не забудешь и не простишь. Вместо того чтобы по-мужски отвесить подзатыльник и отобрать колесо, он приволок тебя домой и сдал матери. А она чего? Она два года как должна ему три грвакана топленого масла. Все никак не отдаст, потому что частями Унан почему-то не берет, а собрать полкувшина топленого масла, отрывая от ртов голодных детей, у нее не получается. Вот и отвела душу о твою спину так, что ты потом три дня только на животе и мог спать.

Мать была из того края долины и плохо понимала местный диалект. Чудом спасшись с четырьмя детьми от большой резни, бежала в Маран и поселилась в поместье Аршак-бека. Аршак-бек, царствие ему небесное, был человеком щедрым и совестливым, приютил у себя несчастную семью, помог с материалом для постройки дома. Денег на первое время обещал, но отдать не успел – бежал от большевиков на юг, а оттуда, поговаривали, через море – на запад. Поместье после свержения царя разграбили, и матери с детьми ничего не оставалось, как переехать в недостроенный дом на западном склоне Маниш-кара. Ни хозяйства, ни еды. Пришлось идти с поклоном к соседу Унану. Обменяли на мейдане половину выпрошенного у него в долг топленого масла на грвакан пшеницы и ведро картошки, а на остатках масла кое-как продержались до весны. В марте зелень пошла, огород засеяли. Потихоньку зажили.

На каждое упоминание Унана о том, что пора бы вернуть масло, мать смиренно отвечала на своем диалекте – ку дам. Унан сначала передразнивал, а потом стал звать ее Кудам. И даже после того, как она вернула ему масло, продолжал упорно называть ее по прозвищу. Оттого мы, сынок, и Кудаманц. От слова „ку дам“. Отдам».

Кудаманц Василий снял косу с ручки, легкими ударами молотка отклепал режущую кромку, а потом взялся затачивать ее абразивным бруском. Трудился скупыми, чеканными, отработанными годами движениями. В кузнице было темно и прохладно, давно не пользованные инструменты изрядно запылились – иногда Василий, не глядя, хватал со станка что-нибудь, а потом зло чертыхался, стряхивая с рук клочья налипшей пыли.

Раньше, когда посетителей было столько, что спины не разогнуть, а от жаркого духа горна воздух делался таким нестерпимо кусачим, что опалял не только на вдохе, но и на выдохе, отходы от работы с металлом были единственным мусором, водившимся в кузнице. Теперь же она, забытая и бесполезная, затягивалась в кокон пыли, осыпалась осколками черепицы и покрывалась трещинами – старилась и умирала, не нужная никому.

– Нет ничего разрушительнее безделья, – любил повторять отец. – Безделье и праздность лишают жизнь смысла.

Теперь Василий понимал справедливость его слов. Поистине жизнь лишается смысла в тот самый миг, когда человек прекращает приносить пользу окружающим. А чем он может приносить им пользу? Только своим трудом.

Прошло больше полувека с того дня, когда отец привел Василия, тогда еще восьмилетнего мальчика, в кузницу, чтобы понемногу приучать к ремеслу. Помощником тот оказался толковым и трудолюбивым, схватывал все на лету и спустя время взвалил часть работы на свои плечи. Отец умер, когда ему едва исполнилось пятнадцать, Василий запомнил этот день на

всю жизнь, было утро, совсем раннее, но деревня уже не спала – со скрипом распахивались и захлопывались калитки, перелаивались собаки и кричали петухи; протяжно мыча и поднимая рыжую дорожную пыль, шло стадо – впереди палевые круглобокие коровы, следом козы и овцы, шествие замыкал пастух с двумя сыновьями-погодками, один нес узелок с едой, а второй, помогая себе хворостинкой и звонко покрикивая «цо-цо», неумело подгонял стадо, когда оно сильно растягивалось в длину; Василий с отцом посторонились, обождали на обочине, когда отхлынет пахнущий сырым хлевом и навозной горечью животный поток, отец провел ладонью по влажному боку частокола, смахивая росу, хотел что-то сказать, но вдруг резко привалился плечом – и сполз вниз, хватая ртом воздух.

Мать была на втором месяце беременности, слегла сразу после похорон, хворала долго, выправилась только через полгода. Василий не подпускал к ней никого, ухаживал сам – преданно и смиренно, кормил с ложки, поил отварами, купаться тоже помогал сам – набирал в корыто теплой воды, распускал щепоть золы с мыльной стружкой, раздевал ее до ночной рубахи, мыл волосы и ноги, тер худенькую спину – сквозь мокрую ткань беспомощно проступали острые позвонки и ребра, а потом оставлял ее одну, но стоял под дверью, чутко прислушиваясь к тому, как она, охая, стаскивает рубаху, домывается и натягивает чистую смену одежды. Он переносил ее на тахту, укутывал одеялом, поил чаем, сидел рядом, пока она не уснет. Если позволяла погода, выносил на руках в сад – подышать свежим воздухом, мать весила словно жаворонок, только живот торчал – большой, круглый. Василий усаживал ее на скамейку под грушей и, пока она, привалившись спиной к шершавому стволу дерева, наблюдала за ним, возился с землей – рыхлил, поливал, пропалывал.

В кузницу приходил во второй половине дня, оставив мать на попечение тетки или же Сатеник, к тому времени успевшей выйти замуж и родить второго сына.

Мать каким-то чудом доносила ребенка, родился он слабым и болезненным, но живым, восьмой младенец после Василия и первый, кому удалось выжить. Остальные семеро детей умерли, не дотянув до родов, мать с отцом горько оплакивали каждого, но не бросали надежды завести хотя бы еще одного ребенка, семейства в Маране были по-патриархальному большие, многодетные, и лишь их семье не суждено было испытать этого счастья.

Рождение ребенка вернуло мать к жизни, дом, наконец, проснулся, задышал привычными с детства ароматами, по которым так соскучился Василий, – дымно-пряного сыровяленого окорока, орехового варенья и зрелой овечьей брынзы с сушеными горными травами. Теперь жилище встречало его не гробовым молчанием, а сытым стуком маслобойки, каменным шуршанием ручной мельницы и жаром тонира, где мать, напекши лаваша, томила в специях ягнятину.

Мальчик, которого назвали в честь отца Акопом, второй Кудаманц Акоп в роду Арусяк – бабушки Василия, прозванной беспардонным соседом обидным прозвищем Кудам, – рос смышленым, но на удивление тихим и задумчивым. Василий любил его до колючей боли в груди, но не баловал и матери не давал, радовался строящейся в Маране школе – брата нужно обязательно обучать грамоте. Кузница приносила небольшой, но стабильный доход, почти все заработанные деньги Василий отдавал матери, но малую толику откладывал на потом – планировал отправить Акопа в долину – за хорошим образованием. Весной ему исполнилось девятнадцать, пора было жениться, мать несколько раз намекала, чтобы он обратил внимания на Якуличанц Магтахинэ, золотая девочка, скромная и работящая, почему бы не попросить ее руки, но Василий тянул, поскольку сомневался, что Якуличанц Петрос согласится отдать свою дочь замуж за неотесанного кузнеца. Мать, не спрашивая у него разрешения, собрала в узелок свои скудные золотые украшения – сережки, два кольца и браслет – и пришла домой к Петросу. Встретили ее настороженно, но гостеприимно, накрыли стол, выставили богатое угощение – засахаренные лепестки роз, ореховая пастила, воздушные печенья на фундуке. Мать заробела,

но заставила себя довести до конца задуманное, отодвинула в сторону тарелку, развязала узелок, высыпала на скатерть содержимое:

– Это все, что я могу подарить вашей Магтахинэ.

– Она ни разу не отвела взгляда и не сказала ни одного лишнего слова, – спустя годы рассказывал Петрос Василию.—

Сидела прямо, сложив на коленях руки, и говорила со мной как с равным. Потому я и согласился выдать за тебя свою дочь.

Свадьбу решили сыграть осенью, традиционно после сбора урожая, но ждать ее пришлось целых пять лет – сначала из-за траура по младшему брату Магтахинэ, погибшему от удара молнии, потом из-за голода, кружившего над Маниш-каром и наступившего с первым засушливым летом – неотвратимо и, казалось, навсегда. Уже потом, спустя годы, маранцы с горечью вспомнили, что голод, словно играя с ними в кошки-мышки, вперед себя посылал вестников и подавал знаки, с тем чтобы предупредить, а может, поглумиться… Но погруженные в будничные заботы люди, увы, не смогли распознать затаенный смысл этих знаков. Началось все в ту ночь, когда поднятая на ноги от необычного шума деревня, прильнув к окнам, с ужасом наблюдала, как, стекая тонкими ручейками в шуршащий поток, движется в сторону мейдана огромная стая крыс и мышей. Впереди, молчаливые и грозные, испещренные шрамами, полученными в многочисленных боях, шли самцы, за ними бестолково пихались детеныши – самые мелкие, цепляясь за хвосты, норовили взобраться на спину взрослым, но, больно покусанные, пища от обиды, сваливались обратно и затаптывались теми, кто двигался следом. Замыкали шествие самки – странно безучастные к гибели своих детенышей, они семенили нестройными рядами, равнодушно обходя корчащиеся в агонии окровавленные тельца. Луна висела в небе огромным мельничным жерновом, почему-то молчали дворовые собаки – громадные косолапые псы, отзывающиеся грозным рыком даже на самый ничтожный шум, а онемевшие от ужаса люди, остерегаясь высовываться на веранды, молча наблюдали из окон этот необъяснимый, зловещий исход. Мышиное стадо, добравшись до мейдана, сбилось в бурлящую орду, устремилось широкой волной к краю деревни и иссякло, растворившись в бледном лунном свечении, оставляя за собой запах сырой гнили и усеянную коченеющими трупиками заскорузлую деревенскую дорогу. Утро Маран встретил без привычной возни в подполах и погребах, но хозяйки, остерегаясь возвращения крыс, продолжали обсыпать землю вокруг ларей с зерном полосой семян чернокорня, забивать опустевшие норки битым стеклом с мышьяком и отодвигать полки с припасами от стен на такое расстояние, чтобы не дотянулись грызуны. В долине поговаривали, что мыши ушли на восток, туда, где переливался темными водами бескрайний море-океан, и что люди, живущие на берегу океана, видели, как обезумевшие грызуны кидались в радужные на закате волны и, перебирая стертыми в кровь лапками, плыли до последнего, пока, вконец обессиленные, жалобно пища и задыхаясь, не уходили целыми стаями на покрытое душным илом мертвое дно.

Люди, наверное, еще долго бы обсуждали необычное происшествие, если бы не напасть, случившаяся следом, накануне Благовещения, в тихий и солнечный апрельский полдень. Небо – с утра мирное и безоблачное, сулящее теплую солнечную погоду, вдруг затянулось беспроглядной завесой черноты – от одного края горизонта до другого, и заверещало лязгающим зловещим стрекотом. Не успели женщины, суетливо путаясь в прищепках, сорвать с веревок сохнущее белье и загнать в курятники птицу, как грозовые тучи, внезапно обернувшись стаями тяжелых острокрылых мух, обрушились на деревню, норовя облепить отвратным кишащим месивом все, что попадалось на пути, – сады, огороды, заборы, дома и хозяйственные постройки. Мух было так много, что казалось – Бог, осерчав на людей за какой-то проступок, ниспослал им в наказание карающий дождь из насекомых. Они кружили в воздухе назойливыми скопищами, лезли в рот, залепляли глаза, обгладывали молодые побеги растений, опустошали кормушки домашней птицы и даже пытались стащить корм у скота. Они забивались

через дымоходы в дома, расползались по углам и щелям, оставляя на стенах и мебели несмываемые темные пятна. Они были огромны и страшны – каждая с мизинец длиной, с прозрачными зеленовато-желтыми крыльями, с пятью продольными полосами на спинке и пятью поперечными полосами на тяжелом сероватом брюшке. Они размножались с такой чудовищной скоростью, словно намеревались заполонить всё и вся. Самцы, привлекая самок, издавали крыльями громкий скрежещущий стрекот, от которого закладывало уши. Спаривались они в воздухе, падая камнем вниз и бешено вращаясь вокруг своей оси, самки при этом стенали и верещали, но вырваться не могли, потому что самцы обездвиживали их, спрыскивая ядовитыми выделениями слюнных желез. Вылуплявшиеся через несколько часов личинки были ненасытны и всеядны, не успел опомниться – а они уже выросли в громадных – величиной с ладонь, омерзительно-студенистых червей, пожирающих не только растения, но и мелкую живность – муравьев, жуков, пчел. Маранцы держали оборону как могли – заколотили дымоходы, заперли домашнюю птицу и собак в погребах, не выпускали скот на пастбища, не открывали окон и завесили проемы входных дверей простынями. Одежду на улице приходилось носить плотную, прикрывающую все тело, шею обматывали шарфом, а голову – платком, оставляя узкую щель для глаз. Чтобы уничтожить залетевших в жилище насекомых, орудовали выбивалками для ковров, но вскоре стали их ловить и выкидывать за порог, потому что, умирая, мухи выпускали едкую лужицу яда, разъедающего кожу рук того, кто ее подтирал. Язвы потом долго гноились и заживали с большим трудом. Бытовые яды на мух не действовали, они оказались невосприимчивы даже к неразбавленной уксусной эссенции и мышьяку. Шлапканц Ясаман заварила котел настоя на клещевине, чемерице и сонной одури и выставила его во двор, но на мух он не возымел никакого действия. Отправленные за помощью в долину гонцы вернулись несолоно хлебавши – химические яды, которыми раньше травили насекомых, не помогали, а из-за неумеренного и неосторожного их применения пострадало большое количество людей. Оказалось, что долине приходилось сложней, чем притулившейся на макушке Маниш-кара деревне, потому что основная масса насекомых предпочла продуваемой ветрами вершине тихие благодатные низины. Вернувшиеся маранцы рассказывали, что паника в долине началась на третий день нашествия мух. Кто-то пустил слух, что скоро не будет еды, потому что припасы на исходе, а новым взяться неоткуда – производства стоят. Паника сделала свое черное дело – сначала опустели продуктовые лавки, потом были разграблены все склады. К тому времени, когда правительство ввело войска и объявило комендантский час, спасать было нечего – растащив по домам добытые припасы, люди теперь готовы были охранять их ценой своей жизни. Что творилось в низинах потом, маранцы не знали и даже предположений не строили. Смысл гадать, зная людскую породу?

Мухи исчезли лишь к концу мая. Взмыли тяжелыми стрекочущими стаями, покружили над долиной и Маниш-каром – и улетели на север, оставив за собой обглоданные до последней травинки пастбища, голые леса и отравленную воду. Природа попыталась было взять свое – распустилась новыми листочками, зазеленела бескрайними полями, благо сразу после отлета мух случилась целая неделя дождей, смывших всю скверну, оставшуюся после их нашествия: ядовитые испражнения, скорлупки личинок, обглоданные до костей трупики птиц и шелуху прочей погибшей насекомой мелочи. Но следом за дождями наступила засуха. Раскаленное до предела огромное солнце, немилосердное и бело-слепящее, нависло огненным шаром над долиной, выпарило всю влагу, выжгло дотла едва очнувшуюся зелень, накрыло мир огненной дланью – не распрямиться и не продышаться. Обезвоженная земля пошла ломаными трещинами, подернулась пыльной мутью, зашипела, словно прогретый на печи докрасна чугунный утюг – фшшшш, шшшшшш. Реки обмелели, а потом исчезли вовсе, замолкли родники, тень лишилась своей целительной прохлады, а деревья высохли и торчали, покоробленные, словно обломанные штормом зубья мачт.

Засуха была последним вестником, посланным голодом впереди себя. Следом, на колеснице солнечного ветра, нагрянул он – волгловзглядый и мерзкий, не ведающий пощады и сострадания, страшнее самого страшного, что может быть на свете, – самой смерти. Каждый раз, вспоминая ту чудовищную пору, Василий начинал давиться от тяжелого, мучающего легкие кашля. Он выпивал одну чашку воды за другой, но не мог утолить жажды, только задыхался, терзаемый колючим кашлем, и, согнувшись в три погибели, исходил беспомощными слезами. Вспоминал, как зарезал последнего барана, – засуха выжгла жалкие остатки травы, корма не было совсем, скот падал градом, мертвых животных закапывали, а тех, кто был при смерти, наспех забивали, разделывали и, подержав мясо в крепком рассоле, сушили на ветру. Отец в свое время отдал за этого барана целое состояние: огромный, племенной, мясо-шерстяной породы, еще зимой он весил под пятьсот грваканов, но на четвертый месяц засухи отощал до костей, почти ослеп и остался без зубов. Василий уложил животное на бок, прижал коленом – раньше, чтобы его скрутить, нужно было позвать на подмогу несколько крепких мужиков, а теперь оно далось само, только жалобно, почти по-коровьи мычало, предчувствуя скорую кончину. Василий отвел взгляд, перерезал беззащитное горло острым ножом, подождал, пока уймутся судороги, поднял обмякшую тушу одной рукой и повесил за сухожилие на железный крюк, чтобы дать вытечь крови. Пятилетний Акоп стоял неподалеку, задержав дыхание, молча наблюдал, как старший брат короткими, точными взмахами ножа снимает с барана шкуру. В желудке несчастного животного обнаружились обрывки полиэтилена, прищепка и кожаный сандалик Акопа, пропавший днем раньше. Мать протерла его сначала золой (воду приходилось нещадно экономить), потом – тряпицей, смоченной в водке, но ребенок наотрез отказался его надевать.

Годы голода зияли в памяти Василия черным провалом – он не разрешал себе оглядываться назад, из боязни вспомнить такое, от чего потом никогда уже невозможно будет оправиться. Но совсем отгородиться от воспоминаний не получалось, они неминуемо всплывали из водоворота прошлого и долго потом терзали его своими ранящими душу подробностями. Василий до сих пор ощущал во рту горчащий привкус жидкой похлебки, которую мать наловчилась варить из кореньев, еловых шишек и древесной коры. Овощей и злаков было не достать ни за какие деньги, на оставшихся после забитого скота запасах сушеного мяса протянули первые несколько месяцев, но потом закончились и они, и есть стало совсем нечего. Засуха отступила лишь к концу осени, дав возможность дождавшейся ноябрьских дождей природе робко зазеленеть на крохотный отрезок времени, отпущенный ей до наступления снегов. Вот на этой малой траве, выкорчеванных кореньях, еловых шишках и древесной коре и продержалась деревня до марта, потеряв к концу зимы половину людей. Февраль превратился в месяц погребений, каждое утро вместе с другими мужиками Василий обходил дома и собирал умерших, хоронили их в общих могилах – выкопать отдельные не хватало сил. Первыми уходили старики и дети, следом – женщины, мужчины держались дольше всех, это было какое-то непосильное, нечеловеческое проклятие – одного за другим провожать на тот свет тех, кто дорог тебе больше жизни. Единственным молодым мужчиной, ушедшим в первый год голода, был отец Анатолии, Севоянц Капитон. Похоронив старших дочерей, он отвез Анатолию в долину, перепоручил ее дальней родне, а после смерти старенькой бабо Манэ, в минуту беспросветного отчаяния, насовсем отказался от питья и скудной еды. Первые два дня, пока хватало сил, он еще помогал собирать по деревне трупы, а на третий день, резко ослабев, слег, чтобы больше не вставать. О том, что Капитон решил добровольно наложить на себя руки, знал только Ованес. Он неоднократно пытался уговорить друга не брать на душу грех самоубийства, напоминал об Анатолии, но на все увещевания Капитон отвечал холодным молчанием. Заговорил лишь однажды, перед самой кончиной, попросил положить его рядом с женой и дочерьми, а не хоронить в общей могиле. Ованес позвал на подмогу Василия, превозмогая чудовищную слабость, они разрыли могилу Воске и опустили на ее полуистлевшую домовину завернутое в одеяло тело

Капитона – покойников было так много, что никто не задумывался о гробах, главное было как можно скорее предать их земле. Потом они долго курили и молчали, не обращая внимания на холод и забивающийся за ворот колючий снег. Василий смутно догадывался о причине смерти Капитона, но спрашивать ничего не стал. Однако исправно, раз в год, в феврале приходил с Ованесом на могилу его друга. Они стояли, облокотившись о стылую ограду, молчали. Лишь однажды, спустя долгое время, Ованес позволил себе небольшую откровенность:

– Кто мы такие, чтобы осуждать чьи-то поступки, – вздохнул он, разворачивая сверток с ладаном.

– Есть такие решения и поступки, которые осуждению не подлежат, – коротко бросил Василий.

Ованес ничего не ответил, но, прощаясь, крепко пожал ему руку. С того дня на могилу Капитона они больше не ходили. Видно, слова Василия убедили Ованеса если не в правильности, то хотя бы в неизбежности шага, на который решился Капитон, и он отпустил друга с миром.

Первый февраль голодного времени запомнился Василию не только бесконечными похоронами, но и необъяснимым поведением младшего брата. Акоп, отощавший до костей, но удивительно бойкий и здоровый благодаря карасу меда, отданному им семьей Магтахинэ, – мать разводила ложку меда в кувшине теплой воды, добавляла туда сосновых шишек и поила этим настоем сына утром, днем и вечером, поэтому, несмотря на свою прозрачную худобу, тот оставался жизнерадостным и веселым ребенком, однако, радуя близких хорошим физическим состоянием, расстраивал душевным. Шумный и суетливый на протяжении всего дня, к вечеру он сникал, отказывался ложиться в постель и половину ночи проводил у ледяного, покрытого инейными завитушками окна. Сидел, завернувшись в шерстяное одеяло, и напряженно вглядывался в темноту, а на вопрос, что он там высматривает, отвечал – синие столбы. Мать тоже вглядывалась в темноту, ничего не видела, пугалась, плакала, однако Акоп делал вид, что не замечает ее слез, и игнорировал просьбы лечь спать. А когда однажды Василий попытался отнести его на руках в постель, мальчик разразился такими горючими слезами, что пришлось посадить его обратно к окну. Теперь взрослым приходилось проводить ночи в бдении, мать, уверенная, что душу младшего сына похитил дэв [18], читала молитвы, украдкой утирая слезы, а Василий отвлекал брата разговорами. Акоп отвечал охотно, но взгляда от окна не отрывал, иногда посреди беседы умолкал, шевелил неслышно губами, загибал пальцы, вытягивал шею и, прижавшись лбом к оконному стеклу, водил глазами вверх-вниз. Через час-другой, словно удостоверившись, что ничего больше в темноте не разглядит, он со вздохом поднимался, сообщал – сегодня было пять и четыре столба (считать умел только до пяти), и ложился спать. Однажды Василий зачем-то сопоставил количество умерших за ночь односельчан с числом «синих столбов», о которых говорил Акоп, и с ужасом обнаружил, что цифры совпадают. Матери он ничего говорить не стал, чтобы не пугать ее еще больше, но следующую ночь провел внимательно следя за братом. Акоп никакого страха не выказывал, но иногда вздрагивал, словно застигнутый врасплох, а потом цепенел, дышал мелко-мелко, сидел, не шелохнувшись, только смотрел куда-то вверх.

– Расскажи, что ты видишь, – попросил его Василий.

– Нуууу, – замялся Акоп, – сначала на небе зажигается свет, похожий на звезду. Потом оттуда спускается столб. Как водичка, только синий. И немножко цвета фиалки.

– В смысле – как водичка? Течет вниз, словно река?

– Нет, прозрачный, как водичка. Поэтому видно, что там внутри.

– А что там внутри?

[18] Злой дух.

– Там внутри два человека. Нет, сначала один человек. Он спускается сверху. У него крылья. Но он не летает ими, они просто висят у него за спиной. Этот человек с крыльями спускается вниз, а потом поднимается и ведет за собой или девочку, или мальчика, или бабушку, или дедушку.

– Куда он их ведет?

– Наверх.

– А что там наверху?

– Синий свет.

Василий обернулся к матери. Та сидела, уронив на колени руки, горючие слезы текли по бледному, изможденному лицу. Василию стало страшно и больно за нее, такую беспомощную и потерянную.

– Он ангелов смерти видит, – улыбнулся он ей и поспешно прикрыл рот рукой – губы предательски дрожали, выдавая смятение и страх.

Той ночью Акоп насчитал «пять, пять и три синих столба». А днем в деревне похоронили тринадцать человек. Следующей ночью, укутав брата в шерстяное одеяло, Василий отнес его на руках к околице, благо идти было не очень далеко – через пять дворов скалился острыми зазубринами обрушенный землетрясением край Маниш-кара. Он встал на самой кромке обрыва, повернулся так, чтобы Акоп видел кромешную тьму, поглотившую долину.

– Что ты там видишь?

– Там светло, как днем, – ответил, не поворачивая головы, мальчик.

– Потому что там светит солнце?

– Нет, Васо-джан. Там очень много синих столбов, вот из-за них и светло.

Смириться с тем, что мальчик видит вестников, прилетающих за умершими людьми, было невозможно, но мать попыталась хотя бы свыкнуться с этой мыслью. Правда, давалось ей это с невыносимым трудом – она продолжала плакать и тихо читать молитвы, а Василию ничего не оставалось, как дремать на тахте в ожидании того часа, когда Акоп, досчитав последние вспорхнувшие в небо людские души, попросится в постель. Спать его теперь укладывали только рядом с братом, мать боялась, что ангелы смерти, догадавшись, что их видят, явятся за ребенком. Но ангелам смерти было недосуг – они сбивались с ног, принимая и сопровождая на небеса все новые и новые отстрадавшие души.

– Энбашти – страшное время, – как-то поведала шепотом старшему сыну мать, – ваша бабушка, покойная Арусяк, рассказывала, что люди чаще всего умирают именно тогда, когда крепко спят петухи. А спят они беспробудным сном в энбашти, с полуночи и до первой зари.

– При чем здесь спящие петухи? – озираясь на замершего у окна младшего брата, спросил Василий.

– При том, что они своим криком отпугивают смерть. Если человек умер днем, то случилось это потому, что петух не успел вовремя крикнуть.

Василий покачал головой, тяжело вздохнул.

– Скоро весна, голод отступит, люди перестанут умирать. Вот увидишь, Акоп успокоится.

Все произошло именно так, как он предсказал. Через неделю – другую, когда с появлением первой весенней травы – крапивы, пастушьей сумки и просвирняка – ополовиненная деревня понемногу ожила, завозилась в огородах и садах, вытащила хранимые как зеницу ока семена овощей, Акоп впервые уснул не далеко за полночь, а в положенное детям время. С того дня он спал спокойным, глубоким сном до самого обеда, видно, наверстывал бессонные ночи, проведенные у окна.

Ближе к апрелю в долине, наконец, вспомнили о Маране, однажды оттуда прибыл грузовик с пшеничным зерном и картофелем, охраняемый солдатами, они раздали каждой семье по три грвакана зерна и четыре грвакана картошки – на посев. Зерно было обычным, местным, видно, не все правительственные склады были разграблены обезумевшими от голода людьми, а

вот картофель оказался какого-то нового сорта – продолговатые, гладкие, без единого изъяна и морщинки веснушчатые клубни, каждый – словно блестящий карамельный леденец. Солдаты пояснили, что это помощь, которая пришла откуда-то из-за моря, надежды на то, что такая картошка приживется в наших краях, небольшие, но посадить ее обязательно надо, потому что продуктов не осталось, совсем, идо урожая нужно как-то перетерпеть. Спустя еще неделю пришла новая помощь, несколько десятков вагонов домашней живности – теперь уже с той стороны северного перевала, что отделял долину от внешнего мира сомкнутыми полукружием горами. Марану после тщательного распределения достались корова, овца, две козы и свинья, особенно поразившая маранцев, – аккуратная и чистенькая, словно бережно промытая под проточной водой круглая репка. Деревня поохала, поцокала языком, обошла ее со всех сторон, подивилась тому, какие у нее маленькие ушки и гладкая кожа, местные свиньи славились на всю округу своими огромными, почти слоновьими ушами и повышенной шерстистостью, а тут нежное мол очно- розовое создание с пятачком сердечком и крохотными копытцами. Вдоволь налюбовавшись диковинной свиньей, маранцы наконец очнулись и задались вопросом, как же поступить с помощью. Было принято решение содержать животных в самом просторном и чистом хлеве, принадлежащем Меликанц Вано, а полученное молоко строго делить между теми семьями, где остались дети. А когда пойдет потомство, можно будет раздать его по домам, и у каждого мало-помалу появится своя животина, а у деревни – новое стадо… Хотя о каком потомстве может идти речь, спохватились люди, когда привезли одних самок? Кто их будет оплодотворять? На молнию, отправленную телеграфисткой Сатеник в долину, ответа так и не дождались, зато еще через неделю прибыл второй грузовик, с долгожданным мужским составом и целой стаей домашней птицы – индеек, уток, цесарок и гусей. Птицу, чтобы ее не затоптали животные, доставили в восемнадцати заколоченных деревянных ящиках, когда открыли последний – оттуда, повергнув всех в глубочайшее изумление, вылез кипенно-белый павлин. Оказавшись на свободе, он обиженно закурлыкал и пошел прочь, прихрамывая и увязая поломанными перьями во взбухшей от весенних дождей дорожной грязи. Машина, выгрузив животных и птицу, давно отчалила восвояси, спросить, откуда взялся павлин и что с ним делать, было не у кого. По просьбе Вано, отвечающего теперь за прибывшее с севера Ноево стадо, Сатеник набрала новую телеграмму, ответ на этот раз не заставил себя долго ждать, долина отозвалась краткой, но гневной отповедью на тему «нам не до ваших неуместных шуток».

Павлина поселили вместе с остальной птицей, но он плакал и отказывался есть из общей кормушки. Жена Вано, Ейбоганц Валинка, забрала его в дом, помыла в корыте, осторожно поливая из ковшика, он час с лишним обсыхал у нее на коленях, укутанный в старую простыню, надо же, столько красоты, а пахнет как обычная мокрая курица, диву давалась Валинка. Обсохнув, павлин тяжело вспорхнул на пол, засеменил к входной двери, тоскливо закричал, просясь на волю. Валинка выпустила его, он покружил бесцельно по двору, прошел, не поворачивая головы, мимо шумной ватаги кур, цесарок и гусей, вернулся на веранду, забился под деревянную лавку и притих. Вытащить его оттуда не представлялось возможным – павлин плакал и кричал каждый раз, когда кто-то пытался подойти к нему ближе, чем на два шага, поэтому Валинка оставила ему миску с водой, накрошила крапивы со щавелем и запретила домашним задерживаться на веранде, чтобы не пугать птицу. Павлин, успокоившись, вылез из-под лавки, пощипал крапивы, провел целый день на веранде, прохаживаясь из угла в угол, а к вечеру, вспорхнув на перила, заснул, свесив до пола роскошный хвост. Со временем он привык к новому месту, просился даже за калитку, ходил вдоль дороги, оглядывался по сторонам, а добравшись до кромки обрыва, замирал надолго, красивый и величественный, в белоснежной короне и ржавых от дорожной пыли перьях, глядел куда-то вверх, иногда кричал – рвущим душу криком. Жил он круглый год на веранде, Вано сколотил для него большую коробку, набил ее сеном, но павлин ее упорно игнорировал, лишь в самый мороз забирался туда и, зарывшись под старый шерстяной плед, которым его заботливо укрывала Валинка, угрюмо молчал, про-

вожая безучастным взглядом залетающие под навес редкие снежинки. Иногда он выбирался в зимний двор, мигом становясь почти невидимым на снежном покрове, неуместно-роскошный в окружающей его деревенской действительности, – и недолго наблюдал снежную пургу. Потом, тяжело хлопая намокшими крыльями, взлетал на веранду, замирал на секунду на перилах – и снова нырял в коробку с сеном.

Остальные доставленные из долины животные быстро привыкли к новому месту, корова с козами и овцой давали столько молока, что часть его иногда даже пускали на масло и сыр, правда, на выходе продуктов получалось так мало, что хватало их только на детные семьи. К лету деревня выправилась, зазеленела огородами и садами, запестрела ягодами смородины и малины, но радость зарождающейся жизни омрачалась страхом перед засухой, которая могла вернуться. И она вернулась, не такая протяженная, как в прошлом году, но злая, пышущая зноем и пламенем, людей спасло только то, что нагрянула она поздно, к концу июля, так что часть урожая все-таки удалось спасти. Привозной картофель не пророс, зато в огороде Василия внезапно проросли несколько клубней старого картофеля, по счастливому стечению обстоятельств забытых в земле с прошлого урожая, – мать потом выкопала эту картошку и спрятала ее до весны – на новый посев. Второй год продержались на засоленных помидорах-огурцах, ягодах, грибах и орехах – грецких, лесных и буковых, ну и на меде, слава богу, пасеки пережили голод и до наступления зноя успели сделать достаточные запасы, а потом наверстали еще в октябре, когда жара, наконец, спала.

Мать умерла во вторую зиму голода, дотянув до самого ее конца, ушла в полдень, прилегла подремать, но так и не проснулась. Сыновья были на кузне, Василий забрал с собой Акопа, чтобы отвлечь его от ночных бдений, возобновившихся с наступлением очередной зимы; мальчик, следивший за тем, как брат заливает в форму расплавленный металл, вдруг резко выпрямился, задел его локтем, Василий чудом не облился, хотел прикрикнуть на него, но осекся – Акоп, мертвенно-бледный, хватал ртом воздух, силился что-то сказать, но не мог. Василий испугался, что брату не хватает воздуха в жарком помещении, вынес его на руках из кузни, тот, с трудом отдышавшись, всхлипнул и заплакал: Васо-джан, за мамой прилетел ангел.

Василий побежал, не разбирая дороги, путаясь в длинном кузнечном фартуке, прижимал Акопа к себе, стараясь прикрыть его руками – на улице стоял холод, а они были без верхней одежды.

По дому разлилась обреченная тишина, мать лежала, по-детски подложив под щеку сложенные ладони, Василий опустил на краешек тахты брата, подполз к ней на коленях, прижался губами к виску, ощутил мертвенную прохладу кожи – и заплакал.

Это была первая зимняя ночь, проведенная Акопом не у окна. Прорыдав целый день возле тела матери, к вечеру он совсем обессилел, а потом резко затемпературил. Вызванная на подмогу Ясаман хотела забрать его к себе, чтобы выхаживать в своем доме, но он не дался – я буду тут, я хочу здесь. Ясаман раздела его догола, натерла тутовкой, закутала в шерстяное одеяло, напоила травяным настоем на кизиловых косточках, дала пропотеть, снова натерла тутовкой, ушла, убедившись, что температура немного спала, обещав вернуться рано утром. Ночью, прижавшись горячим лбом к плечу Василия, Акоп признался: он знал о том, что мать умрет зимой.

– Потому и сидел у окна, смотрел, куда они летят. Если бы я был дома… Если бы я не пошел с тобой в кузницу…

– Что бы ты тогда сделал?

– Я бы попросил не забирать ее.

– Ангел бы тебя не послушался.

– Послушался бы.

С того дня Акоп больше не дежурил у окна, а на осторожный вопрос Василия ответил, что беспокоиться теперь не о чем, никто в их доме уже не умрет.

Вторая зима была не такой отчаянной, как первая, но людей на тот свет все равно ушло много. Умирали не столько от голода, сколько из-за подорванного недоеданием здоровья. В ту зиму Василий с Акопом потеряли мать, Ясаман с Ованесом – сына и двух внуков, а родители Магтахинэ – троих дочерей. В семье Якуличанц Петроса выжили только две девочки – восемнадцатилетняя Магтахинэ и десятилетняя Шушаник, чудом оправившаяся к весне от тяжелого воспаления легких. Убитый горем Петрос благородно предложил Василию отдать Акопа к ним в дом, объясняя это тем, что шестилетнему ребенку нужна женская забота и ласка, но Василий вежливо поблагодарил и отказался – сами как-нибудь справимся. О свадьбе заикаться не стал – какая может быть свадьба, когда вся деревня в трауре. Но будущий тесть заговорил о ней сам:

– Подождем еще год. Поженитесь следующей весной, если переживем зиму.

Магтахинэ к тому времени выросла в настоящую красавицу – прозрачно-хрупкая, темноглазая и темноволосая, очень высокая – совсем немного уступала Василию в росте, но бережно слепленная: высокий лоб, аккуратный нос, длинная тонкая шея, узкие ладони и ступни. Жениха своего она не стеснялась, глаз не отводила, раз в неделю заглядывала с матерью в гости – помочь с уборкой и готовкой, а однажды, оставшись ненадолго с ним наедине, позволила взять себя за руку и поцеловать в щечку. Это была единственная вольность, допущенная ею до брака, – порядки в Маране были строгие, девушки выходили замуж целомудренными и нецелованными; овдовев, крайне редко связывали себя повторными узами брака и всю жизнь носили траур по мужу.

По воскресеньям Василий с Акопом приходили с ответным визитом к Магтахинэ. Всегда с гостинцем – то клубники принесут, то немного грибов, то пяток молодых яблок. Мать Магтахинэ принимала скромные подношения с большой неохотой, отнекивалась, переливалась глазами – в деревне каждая крупица еды была на счету. Голод стер отличия между богатыми и бедными, выстроил всех, словно в день Страшного суда, в одну унизительную шеренгу к краю могилы, измывался над ними с размахом, с неприкрытым удовольствием: то опалит зноем взошедшие посевы, то изливается бесконечными дождями, превращая поля в непроходимые болота, то нагонит туч и побьет хрупкий цвет фруктовых деревьев градинами величиной с куриное яйцо. Питались все одинаково скудно, мяса не видели давно, живности в лесу осталось совсем немного – ту, которая пережила засуху, истребили прошлой зимой, а спасшаяся от охотников малая толика пряталась в самой чаще, стараясь не высовываться. Но жизнь, несомненно, брала свое, отвоевывая по миллиметру у голода деревню. Зимой дало приплод Ноево стадо, увеличившись почти в два раза, весной по двору Ейбоганц Валинки уже бегали полугодовалые курята и утята, готовые к осени опериться во взрослую птицу, а свиноматка дала неожиданное потомство – двенадцать ушастых и покрытых густой шерстью поросят; люди, пришедшие к хлеву полюбоваться ими, ахали и цокали языком, как такое может быть, чтобы у привозных с севера гладких белобоких свиней родились такие не похожие на них детки.

Отступил голод через три года, оставив за собой кладбище, не уступающее в размерах окаменевшей от горя деревне.

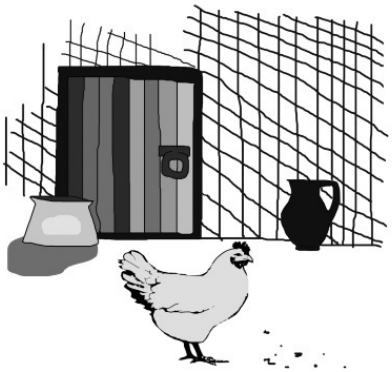
Иногда, когда Василию хотелось ощутить давно забытое чувство счастья, он бережно, не дыша обходил стороной все, что ранило его до нескончаемой боли в сердце: смерть отца, смерть матери, смерть брата, смерть Магтахинэ, смерть троих сыновей-погодков, – и заглядывал далеко назад, туда, где лето было бескрайним, а деревья росли так высоко, что подпирали макушками небо. Он вспоминал себя маленьким, пятилетним, сидящим на коленях у бабушки Арусяк – она гладила его по волосам сухонькой ладонью и рассказывала сказки; вспоминал мать – молодую, красивую, идущую с родника с медным кувшином на плече, она шла осторожно, смотрела под ноги, боясь оступиться, а потом увидела сына – и расплылась в трогательной улыбке; вспоминал отца – рано поседевшего, но молодого и крепкого, с опаленными от дыхания горна ресницами и бровями, иногда, ближе к ночи, когда на дворе разливалась вечерняя прохлада, он выходил ненадолго из кузницы, отдыхал, прислонившись спиной к

каменной стене, и рассказывал историю их рода, о том, как его мать, чудом спасшись от большой резни, бежала сюда с четырьмя детьми, о благородстве канувшего в Лету Аршак-бека, приютившего их несчастную семью, о соседе Унане, дрянном человеке, отказывавшемся брать топленое масло частями и придумавшем Арусяк обидное прозвище – Кудам.

– Оттого мы, сынок, и Кудаманц, – неизменно заканчивал свой рассказ отец. – От слова «ку дам». Отдам.

Глава 5

Анатолия не умерла ни завтра, ни послезавтра. Кровотечение к четвертому дню унялось совсем, но шум в ушах не утихал, и донимало накатывающее волнами мучительное недомогание, иногда до того сильное, что приходилось, цепляясь за стену, осторожно сползать на пол и сидеть, прикрыв глаза – чтобы легче переносить головокружение. К ломоте в теле и ноющей боли внизу живота добавилось онемение в руках: взявши со стола стакан с чаем, Анатолия удивилась тому, как он быстро остыл, и, лишь отпив глоток, сообразила, что чай горячий, просто пальцы потеряли чувствительность. Пугаться, тем паче делать из своего состояния трагедию она не собиралась и продолжала спокойно заниматься домашними делами, а на расспросы встревоженной Ясаман, которая застала ее сидящей посреди двора на голой земле, соврала, что отравилась, поев перебродившей прошлогодней соленой капусты, которую рука не поднялась выкинуть. Ясаман принялась поить ее отварами от расстройства желудка, а заодно, нащупав пульс и посчитав сердечные удары, свежим компотом из алычи и сушеного кизила. На следующий день Анатолия почувствовала себя немного лучше, но слабость и ломота так и не отступали, и головокружение не унималось.



Единственное, что ее беспокоило, это не плохое самочувствие, а предстоящий переезд Василия. Сходить к нему, чтобы извиниться и отказать, не было никаких сил, поэтому она попросила об этом Ованеса. Тот скрепя сердце согласился, но, к своей нескрываемой радости, сделать этого не успел, потому что вечером того же дня, в сопровождении троюродной сестры, явился сам жених – со сменой одежды, починенной косой, стопкой свежевыпеченных кукурузных лепешек и миской садовой клубники, которую Сатеник важно несла перед собой. За ними, подгоняемые огромным белоснежным гампром[19], бестолково суетясь и нестройно мемекая-блея, шли коза с двумя уже взрослыми козлятами и две флегматичные овцы. Шествие замыкал старый, практически полудохлый баран с обломанным рогом и катарактой на глазу.

[19] Аборигенная порода собак, армянский волкодав.

Анатолия как раз возвращалась из погреба, куда ходила за топленым маслом. При виде нежданных гостей она отступила на шаг, нашарила рукой перила лестницы, не оборачиваясь, осторожно наклонилась и поставила на нижнюю ступеньку плошку с маслом.

– Доброго тебе вечера, невестушка, – поприветствовала ее Сатеник.

– Вроде как на завтра договаривались, – пролепетала Анатолия.

– Подержи калитку, чтобы мы могли завести во двор животных, – не расслышав ее слов, попросил Василий.

Анатолия направилась к забору, лихорадочно соображая, как же выкрутиться из этой неловкой ситуации. Ничего не придумав, растерянно распахнула калитку, переждала, пока животные, толкаясь, пройдут во двор. Василий оставил у забора узел с вещами, вручил ей поднос с еще не остывшими лепешками и уверенно погнал скотину к хлеву, который полгода как пустовал – козы Анатолии заболели и умерли еще зимой, а новой живностью она намеревалась обзавестись ближе к осени, уже договорилась забрать у Ясаман козочку, когда та достаточно окрепнет, чтобы жить отдельно от матери. Гампр сначала проводил животных до хлева, потом прибежал обратно, ткнулся влажным носом в подол платья Анатолии, обнюхал ее, поднял кверху большую ушастую голову, коротко гавкнул.

– Признал, – рассмеялась Сатеник. – Это, Патро-джан, твоя новая хозяйка.

Анатолия машинально погладила пса по голове, почесала за ухом.

– Вроде как на завтра договаривались, – повторила она, следя за тем, как Василий, заперев животных в хлеву, направился к погребу, чтобы оставить там починенную косу.

– Да? – удивилась Сатеник. – Брат сказал, что ты ему велела послезавтра прийти.

– Я сказала – через два дня.

– Видно, не так понял. Ну что, невестушка, мне у забора стоять или домой пригласишь?

– Проходите, конечно, – спохватилась Анатолия.

– Вещи оставь, Василий сам занесет, – направилась к лестнице Сатеник. – Масло не забудь забрать, а то Патро его мигом сожрет. Да, Патро-джан?

Патро с готовностью гавкнул, заплясал хвостом.

– Спать-то он где будет? В хлеву? – спросила Анатолия.

– В своей конуре. Брат ее потом сюда перенесет.

Василий вышел из погреба, плотно прикрыл за собой дверь. Грозно ткнул пальцем в собаку.

– Сюда тебе нельзя, ясно?

Патро захныкал, понуро засеменил к хозяину, смешно переступая большими лапами.

– Оставил вчера без присмотра головку малосольного сыра, вернулся через секунду – а он уже украл ее и съел, – поймав удивленный взгляд Анатолии, пояснил Василий. – Завтра с наружной стороны погребной двери повешу щеколду, чтобы он туда не пробрался. И на входную дверь надо будет щеколду повесить.

Анатолия молча пошла вверх по лестнице, прижимая к груди поднос с лепешками. Голова кружилась, ноги предательски подкашивались. Мыслей не было, никаких, единственный вертящийся на языке вопрос «Зачем?» адресован был скорее себе, чем Сатеник с Василием. Они-то тут при чем, если кашу заварила сама? «Напою чаем, извинюсь и отправлю их обратно», – решила она.

Сатеник забрала со ступеньки забытое Анатолией топленое масло, войдя на кухню, обтерла краем передника низ плошки, поставила ее на стол и села, подперев морщинистую щеку рукой, а Василий, захлопнув перед носом Патро входную дверь – иди побегай по двору, наглая твоя морда, – занес в коридор вещи, замешкался на секунду, видно, хотел спросить, куда их положить, но махнул рукой и накинул на подлокотник тахты – потом разберемся. Пока гости располагались, Анатолия открыла заслонку печи и полезла на кухонную полку – за спичками. От падения ее уберегла широкая спинка печи – подкошенная приступом головокруже-

ния, Анатолия рухнула на нее ничком, сильно ударившись боком, и потеряла сознание. Очнулась она в своей постели, от резкого запаха мази, которой Ясаман натирала ей виски, Сатеник сидела на краешке кровати, массировала ей ступни, старательно надавливая там, где подъем переходил в подушечки пальцев, в соседней комнате переговаривались Ованес с Василием, прислушавшись, она различила обрывки фраз: «хворает четвертый день, жена никак не разберет, что с ней такое», «не вовремя я затеял эту историю с переездом», «наоборот, будет кому по ночам за ней приглядывать».

– Если к утру не станет лучше, отправлю в долину телеграмму, пусть присылают карету скорой помощи, – выговорила вполголоса Сатеник.

– Оставьте меня в покое, – хотела попросить Анатолия, но вместо слов из горла вырвался протяжный стон.

– Что? – наклонилась к ней Ясаман.

Анатолия попыталась поймать ее взгляд, но веки словно налились свинцом, она прикрыла глаза, повела наугад в воздухе рукой, поймала подругу за пальцы, слабо их сжала.

– Нет, – зашептала, – нет.

Громким, требовательным лаем разразился Патро – Сатеник аккуратно переложила ноги Анатолии на простыню, поднялась, засеменила к окну, потрясла грозно пальцем во двор – уймись, брехливый пес, или посажу тебя на цепь, Патро ринулся к ней, не разбирая дороги, въехал со всей силы в бочку, опрокинул ее и остолбенел, облитый с ног до головы чуть тухловатой дождевой водой. Бочка покатилась по земле, издавая оглушительный барабанный грохот, ударилась боком о деревянный забор, устроила всполошенный гвалт испуганная птица, заволновались в хлеве овцы и козы, в соседней комнате послышались быстрые шаги – это Василий, поднятый на ноги шумом, заспешил во двор, чтобы посмотреть, что там происходит.

«С этими людьми невозможно даже спокойно умереть», – подумала Анатолия и с внезапным облегчением провалилась в сон – беспробудный и спасительный. Открыла она глаза только к следующему полудню, разбуженная лаем и топотом того же Патро, – подминая траву тяжелыми лапами, он метался вдоль стены, отбрехиваясь на редкий по маю одуванчиковый пух, грозящийся превратиться к июню, когда зацветет еще и тополиная роща, в настоящий снегопад.

На спинке стула висело аккуратно сложенное платье Анатолии. Она надела его, застегнулась на все пуговицы, поискала домашние туфли – не нашла, осторожно поднялась – тело показалось неожиданно легким, почти невесомым, ломота унялась, и дышалось значительно легче, – она набрала полную грудь воздуха, бережно выдохнула – голова закружилась, но совсем чуть-чуть. На кухне звякнули посудой, видно, Ясаман возилась с готовкой, Анатолия вышла в гостиную, тахта была разобрана, кто-то провел ночь в соседней комнате, охраняя ее сон, коридор – длинный, со скрипучим полом, с бьющим в окна солнечным светом – вел прямо, а потом налево, к кухонной двери. Она шла медленно, вбирая ступнями тепло дощатого пола, морщилась от попадающих под ноги соринок – пятый день без уборки, нужно хотя бы собраться с духом и подмести дом, а завтра, если хватит сил, провести влажную уборку, – кухонная дверь была распахнута, ситцевые шторы на окнах раздувал сквозняк, за столом, криво прищурившись и пожевывая кончик погасшей трубки, сидел Василий и, неумело орудуя ножом, соскребал с мелкой весенней картошки податливую шкурку.

Он сразу же поднялся, чтобы помочь ей дойти до стула, но Анатолия сделала запрещающий жест рукой – не надо, я сама.

– Сейчас принесу твои туфли, Ясаман вчера опрокинула на них бутыль с настойкой, пришлось сполоснуть и выставить сушиться. Наверное, уже высохли.

Он вышел на веранду, вернулся с туфлями, наклонился, кряхтя, поставил на пол.

– Давай помогу надеть.

– Вот только этого мне не хватало, – возмутилась Анатолия.

– Как скажешь, – не стал спорить Василий и снова взялся за нож, – Ясаман заглядывала с утра, послушала твое сердце, сказала, что тебе стало лучше. Велела мне почистить картошку и затопить печь. Вот, чищу, как умею.

– А кто в соседней комнате ночевал?

– Я. Несколько раз заглядывал к тебе – послушать дыхание. Приходилось чуть ли не ухом к губам прикладываться, так неслышно ты дышишь.

Анатолия провела по ступням ладонью, чтоб смахнуть налипший сор, обулась. При других обстоятельствах она бы застеснялась того, что чужой мужчина ночевал за стеной и заглядывал к ней в комнату, но сейчас, выбитая из колеи недомоганием, ничего, кроме легкой апатии, она не испытывала. Но если с апатией можно было разобраться потом, то с глупой затеей переезда нужно было заканчивать прямо сейчас. Собрав волю в кулак, она обратилась к Василию:

– Надо тебе обратно перебраться в свой дом.

Василий кинул в миску очищенную картофелину.

– Зачем?

– Глупость мы затеяли.

– Может, и глупость. Так зачем дальше ее городить?

Анатолия поймала его насмешливый взгляд. Рассердилась.

– В смысле – дальше городить?

– В нашем возрасте неумно метаться. Раз съехались, зачем обратно разъезжаться? Что люди о нас подумают?

– В нашем возрасте чужое мнение должно волновать нас меньше всего, – передразнила его Анатолия.

Василий хмыкнул, переместил трубку из одного уголка рта в другой, поднялся, положил со стуком нож перед Анатолией:

– Раз такая шустрая, работай давай. А я пока печку затоплю.

Анатолия дернула плечом, но за нож взялась.

Заглянувшие к ним Ясаман с Ованесом застали ласкающую глаз семейную картину – Анатолия, упрямо сжав губы в ниточку, скребла картошку, а Василий, опустившись на колени, раздувал в печи огонь. При виде соседей он захлопнул заслонку, поднялся с колен и протянул руку Ованесу:

– Доброго дня.

– И тебе доброго дня, сосед.

Ясаман поставила на стол кастрюлю с холодным спасом [20], подошла к Анатолии.

– Давай посмотрим, как ты. Сядь прямо. Смотри на кончик моего пальца.

Анатолия безропотно повиновалась. Ясаман повела пальцем от правого ее виска клевому, потом обратно, внимательно следя за ее взглядом. Вздохнула с облегчением:

– Зрачки не прыгают, головокружение вроде унялось.

– Да, полегче стало, – согласилась Анатолия.

– Я тебе шиповника с мятой заварила, оставила стынуть. Принесу потом. Будешь пить в течение дня. Меликанц Вано собрался сегодня резать барана, обещал отдать печень и сердце. Потушу с луком, тоже поешь. Не морщись, раз захворала, надо лечиться.

Анатолия вздохнула.

– Да все со мной в порядке. Давление, видно, упало, с кем не бывает. У меня другая забота – я Василия домой спроваживаю, а он не соглашается. Говорит – зачем на старости лет позориться, с вещами туда-сюда таскаться.

---

[20] Кисломолочный суп на пшеничной крупе, летом его едят холодным, а зимой – горячим.

Василий, словно не о нем говорили, с невозмутимым видом распахнул заслонку печи, поворошил кочергой поленья, помогая огню охватить их со всех сторон.

– Как спроваживаешь? А мы решили отметить ваш, хм, праздник, – крякнул Ованес, – накрыть столу нас во дворе, посидеть немного. Сатеник уже всю деревню оповестила, пахлаву свадебную затеяла.

– Какая пахлава?! – всполошилась Анатолия. – Вы чего из нас посмешище делаете?

– Обыкновенная свадебная пахлава, на орехах и меду, с монетой на счастье. Кому попадется – тому следующим жениться, – хохотнул Ованес.

Анатолия обомлела.

– Да что же это такое! С ума вы сошли, что ли?

– Ты это. С выражениями-то аккуратней.

– Да с вами разве можно по-другому?

– Не можно, а нужно!

Пока Анатолия с Ованесом препирались, Ясаман сполоснула чищеную картошку, поставила на печь широко донную сковороду, положила туда ложку топленого масла, подождала, пока оно распустится, кинула картофельную мелочь и сразу же плотно прикрыла крышкой.

– Ованес, сходите в огород за травами. И сыра принесите. Сейчас картошка пожарится, сядем обедать, – обратилась она к мужу.

– Огород со вчерашнего дня не полит, – вспомнила Анатолия.

– Я с утра уже полил, – бросил ей укоризненно Василий и направился к двери. Следом, возмущенно бухтя, шел Ованес.

Дождавшись, когда мужчины выйдут из дому, Ясаман пододвинула стул к подруге и села напротив.

– Ты чего свой характер показываешь?

– Не хочу жить с ним, вот и показываю.

– Охота в одиночестве стариться?

– Какая разница – в одиночестве или нет? Все равно стариться.

– Раз все равно, чего упрямиться?

Анатолия побарабанила рукой по столешнице.

– Да не упрямлюсь я. Мне просто все это не по душе, – она принялась раздраженно загибать пальцы, – ни этот его скорый переезд, ни брехливая собака во дворе, ни животные в хлеву, привел, не спросивши – надо оно мне или нет. Ведет себя так, словно он в моем доме хозяин.

– А как он должен себя вести?

– Не знаю. Хоть спросил бы, можно или нет.

– С каких это пор мужики в нашей деревне разрешения спрашивают?

Анатолия откинулась на спинку стула, устало протерла глаза.

– Надо было сразу ему отказать.

– Раз не отказала, смысл сейчас возмущаться?

– Мое слово имеет обратную силу или нет?

– Да что же это за слово такое, которое можно сначала дать, а потом взять?

Анатолия не нашлась что ответить. Ясаман поднялась, разлила по тарелкам спас, нарезала хлеб. Перемешала картошку деревянной лопаткой, посолила. Анатолия следила за ней, обиженно поджав губы. Ей было непонятно, почему, вместо того чтобы поддержать, подруга убеждает ее смириться со сложившимся положением вещей.

Ясаман поймала ее огорченный взгляд.

– Если бы ты знала, дочка, как страшно стареть одной, – протянула она с горечью.

– Да знаю я, – сникла Анатолия.

– Ну раз знаешь… Ты же видишь, как мы живем. В ожидании смерти, от одних похорон до других. Что у нас впереди? Ни просвета, ни надежды. Так зачем отказываться от возможности сделать кого-то хоть на толику счастливей? Не думаешь о себе, хоть о нем подумай.

Заскрипел дощатый пол веранды – Ованес с Василием возвращались с огорода. Следом за ними, жалобно канюча, плелся Патро. Ясаман выглянула в окно:

– Чего это он плачет?

– Сыру просит. Я отломил кусочек, а ему все мало. Угораздило меня на старости лет завести пса. Сатеник уговорила – бери, бери, – Василий забавно передразнил скрипучий голос сестры, – с собакой, мол, не так одиноко.

– Не уймется твоя сестра. То собаку тебе сосватает, то жену.

Василий смущенно рассмеялся, отломил еще кусочек сыра, кинул Патро.

– Все, больше не получишь.

Пес в мгновение ока проглотил угощение, хотел было завести новую жалобную песнь, чтобы выпросить себе еще, но, наткнувшись на строгий взгляд хозяина, сообразил, что ловить тут больше нечего. В два прыжка преодолев ступени лестницы, он ринулся во двор – гонять кур.

Обедали в тишине и умиротворении. Говорили мало, и все – на отвлеченные темы, и было столько ненавязчиво-привычного в звяканье ложек, в просьбе передать соль или отрезать кусочек сыра, в суховатой горбушке домашнего хлеба и глотке воды, что Анатолия впервые ощутила жизнь не как данность, а как дар. Она украдкой переводила взгляд с Ясаман на Ованеса, потом на Василия, ловила каждый размеренный неспешный жест, мысленно соглашаясь с ним, и удивлялась тому, как она раньше не замечала этой безусловной связи между собой и всем, что ее окружает – будь то люди, птицы или камни на старом кладбище. «Нет рая, и ада нет, – поняла вдруг Анатолия. – Счастье – это и есть рай, горесть – это и есть ад. И Бог наш везде и повсюду не только потому, что всемогущ, но еще и потому, что Он и есть те неведомые нити, что связывают нас друг с другом».

После обеда она безропотно дала Ясаман напоить себя настоем шиповника и уложить в постель. Проспала до вечера и проснулась к тому времени, когда в деревню вернулось пахнущее закатным солнцем и майским полем стадо. Оно брело по кривенькой улице, редея у каждой калитки. Когда Анатолия вышла из дому, Василий как раз забирал своих коз и овец. Перекинувшись несколькими дежурными словами с пастухом, он погнал животных в хлев. Заметив ее на веранде, замедлил шаг, улыбнулся краешком губ – Анатолия только сейчас разглядела необычайный серовато-стальной оттенок его глаз. Она облокотилась о перила, сдержанно кивнула:

– Я подою животных. Ты, главное, воды в хлев принеси, чтобы перед дойкой их умыть.

– Да я сам справлюсь. Сатеник научила.

– Доить научила?

– Нуда.

– И как? Получается?

– Овцы пока не жаловались.

Анатолия зарылась лицом в ладони, рассмеялась.

– Неси воду. Сегодня, так и быть, подоишь сам. А я просто рядом побуду.

Часть II
Тому, кто рассказал

Глава 1

Дом Меликанц Вано стоял на самом краю схлынувшего в пропасть плеча Маниш-кара. Скала раскололась надвое и рухнула в бездну, оставив за собой одинокую зазубрину, на которой, обнесенный со всех сторон крепким забором, возвышался двухэтажный дом с огромным фруктовым садом, огородом и несколькими крепкими хозяйственными постройками. Маранцы диву давались, как такое могло случиться – соседние дворы обвалились в пропасть, а семья Вано не только выжила, но и сохранила все свое имущество вплоть до бревен, наваленных грудой за забором в ожидании кольщика дров.

Валинка была уверена, что Провидение уберегло их не потому, что пощадило, а по случайному недосмотру. Видно, когда оно прочерчивало смертоносной рукой линию, которая должна была отделить живую часть деревни от мертвой, по какой-то причине отвлеклось и обошло их двор стороной. Вано, в отличие от жены, ничего сверхъестественного в случившемся не видел. Наоборот, жутко раздражался, когда она принималась вздыхать и причитать, строя предположения, что могло случиться, смой их дом земляным валом в бездну.

– Сдохли бы, и всё! – сердито отрезал он.

Обиженная Валинка ахала и хваталась за сердце, а Вано хлопал дверью и уходил в дальний конец сада. Там, под росшей вкривь старой вишней, стояла кургузая скамейка – двоим взрослым на ней не уместиться, места мало, но и одному сидеть не очень удобно – ножка скамейки прогнила и обломилась, и от этого приходится устраиваться с самого краю, чтобы не опрокинуться.

Вано мог просидеть под старой вишней до первых звезд, перебирая в памяти канувших в небытие родных. Мать его была сестрой Аршак-бека, вынужденного бежать в начале прошлого века от свергнувших царя новых властей. Дед ее, Левон-бек, потомок восточной ветви дворянского рода Лузиньянов (всегда с гордостью уточнял, что дальним предком их семьи считается Левон Шестой Лузиньян – последний король Киликии, рыцарь Ордена Меча и сенешаль Иерусалима), был против того, чтобы его внучка выходила замуж за простолюдина. Но мать Вано, будучи девушкой своенравной, нахватавшейся за годы учебы в институте благородных девиц идей о равенстве и братстве, а также прочих суфражистских наклонностей, пошла против воли старика и связала свою жизнь с сыном, правда, зажиточного, но самого что ни на есть сермяжного крестьянина. Она отлично знала, что по доброй воле родня на неравный брак не

согласится, потому бежала со своим возлюбленным в долину и вернулась оттуда лишь тогда, когда убедилась, что забеременела.

Левон-бек, взбешенный строптивостью внучки, поклялся вычеркнуть ее из своей жизни раз и навсегда. Клятву свою он сдержал, но весьма своеобразно. Мать рассказывала, как приходила в отчий дом и прямиком направлялась в кабинет деда, где тот проводил большую часть времени, читая и делая записи. Она располагалась на полу и клала голову ему на колени. Дед молча гладил ее по волосам, и каждое прикосновение его невесомой старческой ладони казалось благословением. Мать к тому времени была на сносях и очень страдала от приступов тошноты, возобновившихся к последнему месяцу беременности, но наедине с дедом удивительным образом успокаивалась и даже могла позволить себе что-нибудь съесть – остальное время ее рвало от одного запаха пищи. Дед так и ушел, не перекинувшись с внучкой и словом, но именно ей оставил в наследство кустарно написанный портрет Левона Шестого в доспехах крестоносца, с развевающимся за спиной флагом с бело-синим гербом рода Лузиньянов. Может, в назидание, а может, укором. Мать, достойная внучка своего деда, даже бровью не повела, повесила портрет в гостиной, на самом видном месте, и следила, чтобы цветы в вазе, стоявшей под ним, всегда оставались свежими.

Разлуку с братом, вынужденным бежать от новых властей, она переживала очень тяжело, видно, сердцем чувствовала, что в этой жизни им уже не повидаться. Ее не трогали, но она осторожничала, никогда больше не появлялась в родовом поместье, к тому времени разграбленном и национализированном, а портрет венценосного предка сняла со стены и убрала на чердак, гневно отвергнув предложение мужа сжечь его от греха в костре.

– Не стану я уничтожать единственную память о деде, – отрезала она и спрятала портрет за большим деревянным ларем со всяким ненужным скарбом, где он с тех пор и лежал – загаженный нашествием мух и затянутый в пыльный кокон паутины, безнадежно отсыревший и выцветший за те сто лет одиночества, на которые его обрекли равнодушные дальние потомки.

Чтобы окончательно запутать следы и не нервировать новые власти своим дворянским происхождением, мать взяла фамилию мужа. Это был невиданный для Марана случай, ведь местные девушки, выходя замуж, не меняли фамилий, тем самым не отрекаясь от своего рода и навсегда оставаясь его неотъемлемой частью. Деревенские свято хранили тайну настоящей фамилии матери Вано, но между собой называли ее мужа Меликанц-зять[21]. От этого род Вано теперь так и назывался – Меликанц. Княжеский.

Меликанц Тигран, старший и единственный внук Вано, появился на свет в год пришествия в деревню Ноева стада и оказался единственным младенцем, рожденным в голод и пережившим его. Вано в мельчайших подробностях помнил то утро, когда его невестка, промучившись в схватках бесконечные десять часов, разрешилась к рассвету мальчиком – до того крохотным и тощим, что его тельце целиком помещалось на дедовой ладони. Невестка умерла в следующую ночь – изможденная и обескровленная не столько родами, сколько изнуряющим голодом, – и вся забота о новорожденном легла на плечи Валинки, к тому времени похоронившей двух своих младших дочерей.

В то самое утро, когда родился Тигран, белый павлин впервые вышел к кромке пропасти, стоял, неподвижный и непоколебимый, словно вахту нес, вернулся только к вечеру – обессиленный, с проплешинами на спине и крыльях, линял потом месяц, Валинка каждый день выметала из углов веранды целый ворох перьев и собирала в мешок, чтобы перебрать и сшить потом перину для младенца. Весь этот долгий месяц новорожденный балансировал на краю жизни, но все-таки выкарабкался и понемногу пошел на поправку, а освобожденный от старого оперения павлин стал медленно обрастать серебристым пушком – легким и невесомым, как младенческое дыхание. Никто не обращал на эти странные совпадения внимания, пока

[21] *Мелик* – князь (*арм.*).

Валинка, наконец выкроив время, не развязала горловину мешка и не обнаружила там вместо перьев труху, сильно смахивающую на древесную золу. Она выгребла горсть и поднесла к глазам, чтобы рассмотреть ее внимательно. Зола была легче пылинки, искрилась, словно снег на солнце, и пахла корицей и миндалем. Вано велел жене никому об этом не рассказывать – не столько из-за боязни, что их сочтут сумасшедшими, сколько потому, что не смог найти объяснения происходящему. Он закопал мешок с золой под забором, зачем-то воткнул в землю наспех связанный из мертвых прутьев крест, безжизненные деревяшки ожили и выросли в лавровишню, кривобокую, но плодоносную. На все попытки выпрямить ей ствол вишня упрямо тянулась ветвями вкось, туда, куда обрушилось в землетрясение левое плечо Маниш-кара, и осыпалась летом в скорбную пропасть кровавыми ягодами, а осенью – багряными листьями.

Тигран рос болезненным и слабонервным ребенком, не спал ночами, беспрерывно плакал. Окреп лишь к пяти годам, заговорил тогда же и долгое время изъяснялся только простыми словами – дай попить, хочу хлеба. Дед с бабушкой, потерявшие за годы голода всех своих детей, души в нем не чаяли. Валинка никогда не оставляла его одного, даже в гости к соседкам всегда брала с собой: пока женщины, не отрываясь от своего рукоделья – кто вышивал на пяльцах, кто вязал в четыре спицы шерстяные носки, а кто штопал прохудившуюся одежду, – шепотом обсуждали свои дела, Тигран играл в деревянных солдатиков или в камушки. Вечером Валинка перепоручала его мужу, и, пока она занималась домашними делами, дед с внуком пропалывали огород и загоняли в курятник птицу, а потом сидели на скамейке под молодой лавровишней, одинаково тощие и долговязые, Вано рассказывал истории – придуманные и всамделишные, а Тигран слушал, подперев щеку кулачком, прозрачный и слабенький, если погладить по спине – можно пересчитать пальцами остро выпирающие позвонки. Когда мальчик неуверенно бегал по двору, цепляя носами туфель даже самые крохотные камушки, норовя упасть и расквасить себе нос, дед с бабушкой превращались в два изваяния, следящих за ним встревоженным взглядом, притом если Валинка порывалась сорваться к внуку всякий раз, когда он спотыкался, то Вано, наоборот, стоял бездвижно и сердито придерживал жену за локоть – не смей, пусть падает, на то и мальчик, чтоб падать и подниматься. В такие минуты павлин – нелюдимый и безразличный ко всему окружающему – резко вспархивал на перила, тревожно курлыкал и вертел красивой головой в царственной белоснежной короне, не сводя взгляда с ребенка. Тигран был единственным существом, к которому он выказывал интерес, остального мира для него просто не существовало.

Вано подозревал, что павлин появился не просто так, а с какой-то большой целью, если вообще не с миссией. Однажды он отмотал время назад, сопоставил даты и вспомнил, что грузовик с птицей прибыл в деревню именно в тот день, когда невестка сообщила им, что беременна. Будучи здравомыслящим человеком, скептически относящимся ко всему необъяснимому, Вано и тут попытался найти какое-то рациональное толкование происшедшему. Но, потерпев поражение, махнул рукой и сдался, смирившись с тем, что есть вещи, которые обычными словами не объяснить и человеческим умом не постичь. Он догадывался, что появление павлина как-то связано с Тиграном, но ничего об этом говорить жене не стал – а то снова начнет ахать, хвататься за сердце и строить предположения, а потом еще соседей всполошит, маранцы хоть и благоразумный народ, но верят в сны и знаки, поэтому опять повадятся приходить поглазеть на птицу и нервировать ее своим вниманием, как это было в первые дни, когда опешившая от надменной красоты павлина деревня клубилась во дворе, цокая языком и норовя погладить его по роскошным перьям всякий раз, когда он терял бдительность и подпускал кого-то ближе, чем на два шага.

Преисполненный почтением к павлину, Вано решил выказывать ему свою благодарность всеми доступными средствами – подстелил на веранде ковер, приладил к ограде трехступенчатый насест, чтобы легче было взбираться на перила, велел жене подсыпать в кормушку только отборной пшеницы с изюмом и несколько раз на дню собственноручно менял воду в поильнике.

Но павлин этих знаков внимания не замечал – ел с большой неохотой, брезгливо ковыряясь в миске с зерном, игнорируя насест, взлетал на перила, тяжело хлопая крыльями, и замирал на его кромке, глядя невидящим взором на копошащуюся внизу домашнюю птицу. Вано съездил в долину, вернулся с раздобытой за большие деньги самкой – правда, не белой, а пестрой, белых павлинов в долине не водилось, да и пестрых оказалось всего три штуки. Он осторожно выпустил паву на веранду, но павлин даже не повернул к ней головы. Та прошлась по узорчатому ковру, поклевала из миски, выпила воды, а потом спустилась во двор и смешалась с курами и индюшками. На протяжении полугода Вано внимательно наблюдал за ними и, убедившись, что самкой павлин так и не заинтересовался, снова засобирался в долину, чтобы вернуть ее бывшему владельцу. Тот с большим скрипом согласился забрать паву обратно, но выдал только половину денег. Впрочем, деньги Вано мало волновали – единственное, что его тревожило, все ли он сделал для того, чтобы отблагодарить спасителя внука, а в том, что Тигран выжил именно благодаря павлину, Вано не сомневался. На заботу павлин отвечал абсолютным равнодушием, ни на кого, кроме Тиграна, внимания не обращал, обычно был тих и безразличен, но иногда выбирался к краю бездны и кричал вверх тоскливым, рвущим душу зовом, словно просясь туда, откуда его незаслуженно изгнали. Не докричавшись до небес, возвращался домой, подметая белоснежными перьями дорожную пыль, забивался в угол и долго потом оттуда не выглядывал.

В отличие от Вано, Тигран, с детства привычный к белому павлину, принимал факт его существования на веранде своего дома как само собой разумеющееся и относился к нему как к любой другой дворовой птице. Лишь однажды полюбопытствовал, почему куры с цесарками и индюшками спят в курятнике, а павлин – на веранде.

– Чтобы длинные перья павлина им не мешали, – нашелся Вано.

– Ну и ладно, – с легкостью согласился Тигран. Деду с бабушкой он верил безоговорочно, рос отзывчивым, работящим и очень любознательным ребенком, с большой охотой посещал школу, где был единственным учеником – остальные рожденные после голода дети едва научились говорить, когда он пошел в первый класс. Ходил он на занятия два раза в неделю, учился усердно, правда, звезд с неба не хватал, но зато много читал, поэтому Анатолия, к тому времени приступившая к обязанностям библиотекаря, души в нем не чаяла и разрешала держать книги дома дольше положенного срока. На хозяйстве он всегда был на подхвате – то деду поможет огород вскопать, то воды натаскает, то с поручением к соседке сбегает, а то и в два счета смелет на ручной мельнице пшеницу, с которой бабушка полдня могла провозиться.

К четырнадцати годам он вырос в смышленого, трудолюбивого и вполне довольного своей жизнью подростка. И если чем и тяготился, то только одиночеством. Дружить было не с кем, единственному молодому мужчине Марана – младшему брату кузнеца Василия – к тому времени исполнилось двадцать два, но из-за проблем со здоровьем тот почти ни с кем не общался, а с семилетними детьми Тиграну, юноше с пушком над губой и басовитым голосом, было скучно и неинтересно. Поэтому, когда он окончил восьмой класс, дед с бабушкой, скрепя сердце уступив уговорам директрисы и Анатолии, отправили его в долину – за дополнительным образованием. Отрывали внука от себя, словно ножом отсекали, Вано долго потом маялся бессонницей, а Валинка вообще слегла с нервическим приступом, хорошо, что обошлось без тяжелых последствий, проплакала неделю и поднялась, резко похудевшая и постаревшая, но живая. Тигран обитал в доме дальней родни директрисы, проживание оплачивали продуктами – раз в неделю Валинка собирала и отправляла на почтовом фургоне в долину две сумки. В одной была еда – сыр, топленое масло, сыровяленое мясо, мед, сухофрукты, соленья и большая стопка лаваша. В другой – выстиранная и аккуратно выглаженная одежда Тиграна (следующим фургоном возвращалась та, которая нуждалась в стирке). Тигран приезжал к старикам два раза в год – на рождественские и летние каникулы. К окончанию школы он резко вытянулся и возмужал, гудел из-под потолка на бабушку с дедушкой ласковым басом, не давал им работать по

хозяйству – и прополет, и урожай соберет, и крышу залатает, и дров к осени наколет, притом не поленится сложить поленницу так, чтобы прошлогодние сухие дрова оказались сверху, а влажные – внизу.

После школы он поступил в военную академию, к двадцати пяти годам дослужился до большого чина, собирался уже жениться, но не успел – началась война. Полк, которым он командовал, попал в окружение, а далее на протяжении долгих восьми лет от него не было никаких вестей, Валинка выплакала себе все глаза и молилась ежедневно, ежечасно, обивая порог старой часовни, Вано тяжело болел венами, ноги ныли и горели огнем, но старик не подавал виду, терпел. Павлин, к тому времени порядком одряхлевший, был на удивление бодр и здоров, и это придавало Вано сил – несомненно, внук жив, по-другому и быть не должно. Когда пришлось разбирать дощатый пол веранды, чтобы было чем топить печь, Валинка забрала павлина домой. Тот безропотно дался и обитал теперь на кухне, вечерами наблюдал, как рисует на стене огненные лики дровяная печь, и облетал перьями. Вано собирал их и бережно складывал в наволочку. Валинка вязала гулпа и свитера – для фронта, в каждую безымянную посылку клала выструганную Вано крохотную фигурку Божьей Матери и павлинье перо, посылки были безадресные, поэтому уходили и не возвращались, в другие же дома Марана корреспонденция возвращалась, вместо похоронок.

Весну того года, когда кончилась война, Вано запомнил ровно так, как день, когда родился Тигран, – досконально, до мелочей. Накануне он зачем-то взялся высчитывать и обнаружил, что прошло ровно тридцать три года с того дня, как в его доме появился павлин. А следующим утром они с Валинкой проснулись от сиплого крика птицы – каким-то чудом выбравшись к входной двери – последнюю зиму он совсем не ходил и даже голову с трудом держал, – павлин скребся клювом, пытаясь ее открыть, и звал на помощь. Вано взял его на руки и вышел на веранду в ту самую минуту, когда калитка распахнулась и впустила во двор худющего, испещренного шрамами, но живого внука. Павлин умер тем же вечером, на руках Тиграна, под его рассказ о том, как он попал в окружение, как чудом бежал из плена и все это время партизанил в лесах, как был ранен в ногу – пришлось прижигать часть бедра вживую, чтобы не дать распространиться инфекции, остался шрам – глубокий, некрасивый, сковывающий мышцу и не дающий до конца разогнуть ногу. Посреди рассказа внука Вано явственно ощутил легкое дыхание небес, они спустились ниже гор, распахнули окна, проникли в дом, сплели ладони в колыбель, уложили туда искрящуюся душу царь-птицы и взмыли ввысь, оставив за собой легкий аромат корицы и миндаля и чего-то еще – неуловимого и непостижимого, но бесконечно прекрасного.

Павлина похоронили на краю пропасти. Тигран заказал Василию невысокую воздушную ограду, посадил на могильном холмике белые горные лилии. Вознамерившись до конца дней своих жить в деревне, съездил в долину, отказался от военного чина и наград, но, уступив мольбам деда и бабушки, через год собрался и уехал за северный перевал, за другой жизнью, туда, где его не настигла бы новая война. Он стал единственным мужчиной Марана, вернувшимся живым с войны, и последним из молодых, покинувшим деревню стариков. На севере ему жилось трудно, но он не жаловался и не унывал. Устроился на работу, спустя время женился на местной женщине с годовалым ребенком, девочкой, у жены красивое певучее имя – Настасья, Вано с Валинкой произносили его по слогам – Наз-стас-йа. Знали ее только по фотографиям – красивая, с высокими скулами и полными губами, волос светлый и вьющийся, глаза большие, наверное голубые, а может быть, зеленые. С отъезда внука прошло уже шесть лет, и за это время он ни разу в Маран не приезжал. Зато порадовал деда с бабушкой радостной вестью – в декабре жена родила ему сына, назвали Киракосом, в честь деда Вано.

Оттуда, из-за горного перевала, огибающего долину широкой подковой, приходили письма с обещанием вскорости приехать, Валинка обкладывала конверты сухой лавандой и хранила в комоде и, хотя знала содержание каждого письма наизусть, часто ходила к Анато-

лии с просьбой перечитать их. А Вано сидел под старой лавровишней и перебирал в памяти канувших в Лету родных, не отрывая взгляда от кромки обрыва. В ясные дни обрыв купался в солнечных лучах, зимой кутался в снега, а в пасмурные дни был уныл и неприкаян и пах влажным камнем. Над могилой павлина иногда появлялось зыбкое свечение, Вано, углядев этот свет, тяжело поднимался со скамейки, подходил к частоколу, но в калитку не выходил – робел. Он прикладывал ладонь к глазам и, прищурившись, разглядывал одинокий серебряный силуэт, купольный веер перьев, гордо вскинутую голову в воздушной короне и растерянный взгляд, устремленный вверх, в безответные безмолвные небеса.

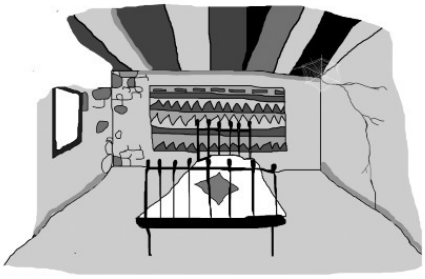
Глава 2

Вано умер в канун Зеленого воскресенья[22]. Пообедал, прилег отдохнуть и не проснулся. Валинка словно знала, что с мужем что-то должно случиться. С самого утра не отходила от него ни на шаг – вместе возились в огороде, вместе спустились на околицу – нарвать щавеля для пирога, потом заглянули на мейдан – поздороваться с односельчанами и посмотреть, кто чего принес на обмен, а на обратном пути зашли в лавку к Немецанц Мукучу – забрать туфли, которые заказали для Вано.

Туфли оказались какие надо: добротные, кожаные, на крепкой подошве, способной выдержать немилосердную избитость деревенских дорог, и без шнуровки, что значительно облегчало их надевание – не надо было, кряхтя, наклоняться и, подслеповато щурясь, ковыряться непослушными пальцами в шнурках. Они были немного велики, но это даже обрадовало страдающего венами Вано, потому что любой дискомфорт приносил его ногам невыносимые мучения, даже гулпа Валинка ему вязала без резинки, чтобы та не давила на чувствительную кожу лодыжки.

Вано примерил туфли, прошелся из одного угла лавки в другой, поймал свое отражение в осколке покрытого ржавыми пятнами зеркала. Вздохнул с облегчением. Хотел было уйти в них, но Валинка сделать ему этого не дала.

– Наденешь на Троицу, – протянула она мужу старую истоптанную обувь. – На то и праздник, чтобы в обновках щеголять.



Вано спорить не стал, молча расплатился и вышел, но демонстративно оставил узелок со щавелем и новые туфли на прилавке. Валинка покачала головой, забрала вещи, попрощалась с Мукучем и последовала за мужем. Тот шел, не оборачиваясь, сложив за спиной натруженные большие ладони.

– Хоть щавель забери! – крикнула жена ему вдогонку.

– Не заберу, – не оборачиваясь, буркнул Вано.

– Ну что я такого сказала, что ты обиделся? Троица через два дня, не потерпишь, что ли?

[22] Имеется в виду Троица.

Вано промолчал. Валинка прибавила шагу, поравнялась с мужем, сунула ему коробку с туфлями. Тот забрал, но головы в ее сторону не повернул.

– Характер у тебя с возрастом совсем испортился. Обижаешься по пустякам, – вздохнула Валинка.

– Не создавай эти пустяки, вот я и не буду обижаться.

– Да что я такого сказала?

– Ничего.

– Вот именно что ничего. Я же доброго тебе желаю. Разве за всю свою жизнь я хоть раз тебе плохого посоветовала?

Она распахнула калитку и посторонилась, пропуская мужа, но тот демонстративно прошел мимо и направился к дальнему краю ограды, туда, где, подмяв под себя давно уже не плодоносящие кусты смородины, лежала на боку часть деревянного частокола. Валинка, сложив на груди руки и поджав тонкие губы, наблюдала, как муж, повернувшись боком и подняв над головой коробку с туфлями и узелок со щавелем, протискивается в узкий пролет ограды. Махнула рукой и пошла в дом – разогревать обед. «Поест, на сытый желудок сговорчивее станет», – рассудила про себя.

Вано зацепился брючиной за торчащий из частокола сук, дернул ногой, чтобы освободиться, чертыхнулся, услышав звук рвущейся материи. Освободив ногу, оглядел брюки – ткань треснула и безнадежно повисла, обнажив часть икры. Он наступил на ошметок материи, оторвал его и оставил лежать на траве.

– Здесь тебе и место! – сердито бросил то ли ему, то ли себе и пошел сквозь облетающий нежно-розовым и белоснежным цветом фруктовый сад.

Добравшись до веранды, сел на верхнюю ступеньку лестницы, скрутил папиросу, закурил, раздраженно выплевывая мелкую табачную труху. Валинка, конечно, права. Характер у него с годами испортился. Но у нее ведь он тоже лучше не стал! Сварливая, непримиримая. Только и делает, что пилит его с утра и до вечера. Полотенце не так повесил, воду разбрызгал, окно недостаточно широко распахнул, не так посмотрел, не так подумал. Сегодня за завтраком всю плешь ему проела за то, что чай пролил. Мол, сначала надо не кипяток в стакан наливать, а сахар положить. Тогда воду не перельешь и при размешивании не расплещешь.

– Ты зачем на лестнице расселся? Продует спину – разогнуться потом не сможешь! – словно услышав его мысли, высунулась в дверь Валинка.

– Может, я этого и хочу! – огрызнулся Вано.

– Чего «этого»?

– Чтоб спину продуло.

– Вано!

– Что?

Валинка хотела по привычке выпалить колкость, но сдержалась.

– Ничего. Пошли есть, обед разогрелся.

Вано, настроенный на набившую оскомину привычную отповедь, растерялся, но виду не подал.

– Сейчас докурю и приду.

Валинка оставила дверь приоткрытой, ушла в дом. В распахнутое кухонное окно было слышно, как она скребет по дну кастрюли, разливая по тарелкам остатки вчерашнего супа. На второе будет отварная картошка с кусочком индюшатины, ну и персиковый компот – в погребе оставались две последние банки, она хотела приберечь их на Троицу, но потом махнула рукой и открыла одну банку, чтобы порадовать мужа. Персиковые дольки были самым любимым его лакомством, он ел их, словно ребенок, дорвавшийся до запретной сладости, – давясь от спешки, облизывая пальцы и закатывая глаза от удовольствия.

После обеда Вано по своему обыкновению прилег отдохнуть, а Валинка взялась простегивать шерстяные одеяла. Делать это приходилось на полу, иначе равномерно распределенная по напернику шерсть сбивалась в бугры. Сидя боком, она передвигалась по периметру одеяла, прошивая его большими стежками, добравшись до середины, выстегала солнечный круг – так делала ее мать Катанка, славившаяся на всю округу своими золотыми руками и любовью к порядку. Она и детей своих приучила к рукоделию и чистоплотности, потому ее дочери считались самыми завидными невестами Марана. Старшая, Саруи, жила на самом краю ущелья, дальше стояла только церковь Григория Лусаворича, каждую субботу, возвращаясь с утрени, Валинка заглядывала к ней, Саруи ходила на службы крайне редко – ухаживала за тяжелобольным свекром, страдавшим приступами удушья; Валинка на целый день брала на себя обязанности по дому – готовила, убирала, занималась детьми, сидела у постели заходившегося в тяжелом кашле свекра сестры, давая ей возможность немного выспаться и отдохнуть. Часто она забирала племянников к себе, и тогда заботу разделяла мать, которая после замужества Валинки перебралась жить к ней. Землетрясение унесло с собой всю семью Саруи, вместе с мужем, свекром и тремя детьми – девочкой и мальчиками, каждый раз Валинка цепенела душой, вспоминая, как обезумевшая от невозможного горя мать металась по кромке пропасти, зовя свою дочь и погибших внуков. С того злосчастного дня она просыпалась с залитым слезами лицом и плакала весь день – без всхлипов и стенаний, готовила, стирала, прибиралась, ходила за покупками и изливалась, изливалась, изливалась слезами. Валинка каждое утро обматывала ей запястья платками, чтобы она утирала ими лицо, и ежечасно меняла их, насквозь промокшие, на сухие. Катанка так и ушла, в бесконечной пьете по своей несчастной дочери, в дождливую погоду, в самый ливень, продержавшийся ровно семь дней со дня ее смерти и сделавший лишь небольшую передышку для того, чтобы дать похоронной процессии добраться до кладбища и предать земле гроб с покойницей.

Раз в два-три года Валинка перестирывала шерстяные одеяла и прошивала неизменный солнечный круг в сердцевине – в память о матери, о сестре, о братьях и о детях, ушедших, словно песок сквозь пальцы, в небытие, на тот край вселенной, который заперт от смертных семью огромными печатями, каждая печать – величиной с игольное ушко и тяжестью в целую гору – не разглядеть, чтобы отпереть, и не отодвинуть, чтобы пройти.

Едва заметная трещина на стене супружеской спальни, возникшая в день землетрясения, со временем стала расти и подниматься к потолку. Достигнув самого верха, она пошла вширь, по крупицам отвоевывая в камне узкое пространство, сквозь которое днем пробивался одинокий луч солнца, а ночью – тусклый блик луны. Вано укрепил эту сторону дома деревянными балками и заделал щель строительным раствором, но жилище словно дышало и ходило, скрипело ставнями и боками, потому раствор держался плохо и со временем начинал крошиться, заново оголяя рваную рану стены. Вано раздражался, снова ее аккуратно заделывал цементом, но тщетно – спустя год-второй цемент осыпался, а открывшиеся участки трещины постепенно покрывались чахлой травой, которая росла, вопреки всему, прямо из камня. К тому времени, когда выведенный из себя Вано заново брался заделывать трещину, в травинках раскидывали свои невесомые сети пауки, а на окрашенном синим деревянном полу выцветала узкая зубчатая полоса, выжженная настойчивым жаром солнца.

– Всюду жизнь, – диву давалась Валинка, разглядывая забитые иссушенными насекомыми трупиками паучьи сети и пробивающиеся в комнату чахлые стебли травы, – всюду смерть – и жизнь.

Последний раз стену заделывали позапрошлым летом, но за два года она успела обсыпаться и зарасти, Вано как раз собирался по новой браться за дело, но только осенью, когда спадет жара. Валинка ждала очередных ремонтных работ с содроганием – вроде ничего особенного, а возни на целый день и уборки на неделю. Она готова была запереть дверь спальни, оставив на откуп трещине целую комнату, и перебраться в гостевую, но муж был против. «Зем-

летрясению не удалось согнать меня с места, ей удастся?» – сердито кивал он в сторону треснувшей стены.

Валинка иногда спорила с ним, а потом покорялась – пусть. Раз за столько лет ему не надоело воевать с трещиной, то и ладно. У каждого свой смысл жизни и своя война.

Закончив стегать одеяла, она вынесла их во двор и развесила на бельевой веревке – задень они надышатся теплом и ветром. А вечером нужно будет переложить их лавандой и убрать в бельевой сундук – до холодов. Валинка принесла из погреба мацуна и хлеба с сыром – на полдник, и пошла будить заспавшегося мужа. На протяжении всего пути в спальню – через небольшую прихожую, две комнаты и обставленную старой мебелью гостевую, куда заглядывали лишь два раза в год, на Рождество и Пасху, единственные праздники, что подразумевали гостей, которым нужно накрыть большой стол, – ни одна ниточка ее души не дрогнула и не заныла, предостерегая. Но, распахнув дверь, Валинка мгновенно осознала случившееся, по инерции сделала несколько шагов и лишь после остановилась, не в силах отвести взгляд от мужа – Вано лежал, безжизненно запрокинув голову, левая рука запуталась в прутьях изголовья, одеяло сбилось в ногах, комната, невзирая на ушедшее в противоположную сторону солнце, была залита ослепительным светом, он лился из трещины в стене могучим нескончаемым потоком, безудержный и слепящий, и отражался в глазах мужа стеклянным сиянием.

– Вано-джан? – шепотом позвала Валинка.

Пока карета скорой помощи, распугивая окрестную живность неистовым воем сирены, мчалась по заскорузлой и ухабистой деревенской дороге, она завесила зеркала в доме простынями и обкурила спальню ладаном. К приезду врача двор был чисто выметен и обрызган водой, а куры с индюшками, чтобы не раздражать своим неуместным праздно-бестолковым видом, загнаны в курятник. Валинка – с ног до головы в черном, молчаливая и строгая – сидела в изголовье Вано и, сложив на коленях руки, рассматривала трещину на стене.

– Кто теперь ее заделает? – спросила она в пространство.

Врач, невероятно худой горбоносый мужчина с воспаленными от недосыпа глазами, нехотя обернулся на широкую, сантиметра в три, змеившуюся от дощатого пола к потолку трещину. Неопределенно пожал плечом, помолчал. Потом все-таки уточнил:

– Бомба?

– Землетрясение.

Спрашивать, как можно полвека прожить с треснувшей насквозь стеной, врач не стал. Выписал справку о кончине и уехал в долину, сопровождаемый гвалтом дворовой птицы, склочно комментирующей пронзительный вой сирены.

Валинка похоронила мужа в старом твидовом костюме и стоптанных туфлях. Новые, неношеные, решила вернуть Немецанц Мукучу.

А далее история, вильнув хвостом, повернула в совсем внезапное для себя русло. В ночь после похорон Валинке приснился Вано – угрюмый, в костюме и носках, глядел с укором:

– А новые туфли зажала!

Валинка проснулась в холодном поту, долго ворочалась с боку на бок. Сбегала с утра в часовню, поставила свечку за упокой. Потом зашла в лавку Мукуча, спросила, можно ли вернуть туфли. Сказали, что можно.

Ночью ей снова приснился Вано. Стоял, теперь уже голый, по колено в болоте, – молчал с укоризной.

– Ну зачем ты так? – расстроилась Валинка. – Туфли ведь можно вернуть. Лишние деньги на земле не валяются!

Вано повернулся, пошел по болоту, прихрамывая, с усилием переставляя тощие венозные ноги.

У Валинки оборвалось сердце.

– Потерпи немного, кто-нибудь умрет – передам, – крикнула она.

Вано кивнул, но не обернулся, только прибавил шагу. Валинка пригляделась – уже не хромал.

Месяц в Маране никто не умирал. Потом, наконец, случилась оказия – преставилась свекровь Бехлванц Мариам. Валинка завернула в чистое кухонное полотенце новые туфли мужа, пришла к ней. Попросила положить с покойницей.

– Куда я их? – беспомощно развела руками Мариам. – Ты же знаешь, какая она тучная, – тут она замялась, огляделась по сторонам, продолжила шепотом: – Заказывать пришлось самый широкий гроб, чтобы свекровь кое-как там уместилась!

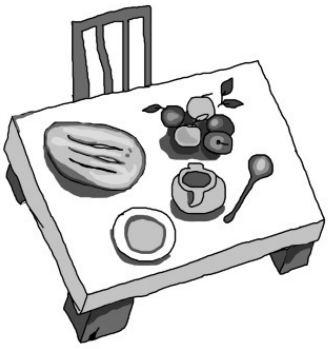
Валинка расплакалась. Рассказала, как не разрешила Вано надеть новые туфли. Как он лежал, запутавшись рукой в изголовье тахты, как брел голым по болоту на своих синих от вен больных ногах. Мариам пожевала губами, повздыхала. Забрала туфли.

– Надену свекрови. Ей-то, поди, без разницы, в какой обуви пороги того света обивать.

На том и порешили.

Глава 3

Конверт был большой и сильно мятый, в нашлепках многочисленных разноцветных марок. Почтальон – худющий, жилистый мужчина в потрепанном картузе и растянутых, лоснящихся на коленях брюках – вытащил его из наплечной сумки, повертел в руках, перечитал зачем-то адрес, хотя помнил его наизусть: деревня Маран, крайний дом на западном склоне Маниш-кара.



– Надеюсь, весть благая, – пробормотал он. – Не хотелось бы из-за дурной тащиться в такую даль.

– На все воля Божья, – флегматично отозвался тер Аза-рия.

Почтальон убрал конверт в сумку, тщательно задернул молнию-застежку. Пожевал губами.

– Тер Азария, можно еще один вопрос?

– Не начинай опять, Мамикон! – с раздражением оборвал его священник, прикрыл ладонью тяжелый наперсный крест – чтоб не мотался на ходу, и прибавил шагу.

Мамикон наблюдал, как, развеваясь на сухом и пыльном ветру рукавами и подолом рясы, вышагивает по разбитой горной дороге тер Азария. День был жаркий, пах раскаленными камнями, свежескошенной травой и сухим листом зверобоя. Из ущелья, отчаянно вереща, взмыла стая деревенских ласточек, покружила над головой и улетела на восток – навстречу солнцу.

Мамикон потоптался на месте, набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул. Поправил на плече лямку сумки, стянул картуз, тщательно его отряхнул. Одернул брюки. Проделывал все манипуляции не сводя глаз со спины удаляющегося священника.

Тер Азария словно чувствовал на себе взгляд Мамикона. Ступал размашистым, но нескорым шагом, не оборачивался. Лишь дойдя до края дороги – далее она уходила направо и исчезала за отвесной скалой, – остановился, глянул нехотя назад.

– Ты идешь или как?

– А куда деваться, тер айр [23]. Конечно, иду! – Мамикон, довольный тем, что переупрямил собеседника, мгновенно двинулся в путь.

– Упертый, как ишак, – не вытерпел тер Азария.

– Не без этого, – с достоинством ответил почтальон.

Разговор с тером Азарией пошел наперекосяк с самого подножия Маниш-кара, с той самой минуты, когда Мамикон осмелился усомниться в разумности утверждения, что нужно подставлять правую щеку, когда тебя ударили по левой. Оскорбленный до глубины души его непочтительностью, священник разразился целой проповедью, пытаясь втолковать оппоненту всю беспочвенность его сомнений. Внимательно прослушав лекцию тера Азарии, Мамикон поцокал языком, сдвинул картуз на затылок, почесал лоб и крякнул:

– Тер айр, а теперь представь, что слова «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» говорит не Иисус, а помещик. Своему бесправному и бессловесному слуге. Разве что-нибудь, кроме ненависти, эти слова у слуги вызовут?

– К чему ты это говоришь?

– А к тому, что смысл не должен меняться от того, кто эти слова произносит. Иначе какой от них толк?

Тер Азария собрался было возразить, но потом махнул рукой. Мамикона он знал очень хорошо. Если упрется – не сдвинешь. Так что лучше и не стараться. Остальной путь они проделали перекидываясь ничего не значащими фразами. Любую попытку вернуться к теологическому спору тер Азария пресекал на корню.

Не дойдя до священника несколько шагов, Мамикон остановился и склонил в шутливом полупоклоне сухонькую носастую голову.

– Так что же насчет бессмысленности отдельных суждений? – с нажимом спросил он.

– Охламоном жил, охламоном и умрешь, – отрезал тер Азария.

– Тер айр, ты бы объяснял, а не обзывался.

– Толк тебе объяснять? Все равно останешься при своем.

– Это да.

Тер Азария вытащил из кармана четки, двинулся в путь, перебирая истертые камни. Мамикон пошел следом, негромко напевая под нос.

Идти им осталось недолго, всего три километра, но вверх по склону. Там, на самой макушке Маниш-кара, их ждала старенькая, утопающая во фруктовых садах каменная деревня. Теру Азарии на отпевание, а Мамикону – доставить письмо.

Среда, солнце встало раньше петухов, а роса утром выпала такая, что хоть горстями черпай. Наконец-то лето.

Небольшой в длину, но неожиданно широкий гроб стоял на столе, как ему и положено было, ногами к выходу. Вокруг сидело несколько пожилых женщин. Темные кофты были глухо застегнуты на все пуговицы, седые волосы стянуты в строгие узлы.

Никто из них не плакал и даже не делал вид, что расстроен. Только сидящая с краю востроносая женщина при виде священника всхлипнула и трубно высморкалась в платок. Остальные молча поднялись, поклонились и разошлись по углам.

Тер Азария обошел стол, встал в изголовье. Окинул взглядом покойницу. Гроб был ей явно мал. Она лежала, крепко стиснутая с боков, со сведенными кушам крупными плечами, недовольная и хмурая. На большом круглом животе покоились руки – левая ладонь прикры-

[23] Святой отец.

вала правую, на безымянном пальце тускло поблескивало изношенное обручальное кольцо. Из-под шелкового сиреневого отреза, покрывающего тело от груди идо пят, выглядывали носы больших мужских туфель. Сорок пятого навскидку размера.

Тер Азария, споткнувшись взглядом о туфли, смешался, но постарался виду не подавать. Раскрыл требник, глубоко вздохнул и принялся читать молитву, не отрывая взгляда от строк, однако, к вящему своему ужасу, поминутно сбивался и, глупо запинаясь, повторялся в словах. Чтобы как-то сосредоточиться, прочистил горло, нахмурился, переступил с ноги на ногу, больно подергал себя за бороду, но, не рассчитав силы, дернул так сильно, что подавился слюной и закашлялся.

Ему поднесли воды. Он пил, старательно зажмурившись, чтобы не натыкаться глазами на нелепо торчащие из-под нарядного отреза туфли. Но тщетно – возвращая стакан, снова вперился в них взглядом. Огромные туфли манили его, словно магнит, не давая сосредоточиться и настроиться на заупокойный лад. Старухи, скрестив на груди руки, стояли вдоль стен и выжидательно молчали. Лишь востроносая сновала между ними – этой попить поднесет, у той косынку заберет, аккуратно сложит и накинет на спинку одиноко стоящего в углу продавленного кресла.

«Нужно как-нибудь продержаться», – сделал себе внушение тер Азария, бесслышно вздохнул и снова открыл требник.

Во дворе, усевшись рядком на деревянной балке, курили и тихо переговаривались несколько дряхлых стариков. Под раскидистым орехом трепыхался краями скатерти накрытый к поминкам стол. Правда, ничего, кроме посуды и солонок, на нем не было. Еду выставят сразу после похорон. Одна из старух встанет у калитки, накинет на плечо полотенце, поставит рядом ведро с водой и примется терпеливо ждать. Каждый вернувшийся с кладбища подойдет к ней и сложит ковшиком ладони. Она зачерпнет кружкой воды и польет на подставленные руки, смывая кладбищенскую печаль. Ополоснувшись, люди вытрут ладони о свисающее с ее плеча полотенце и только потом пройдут во двор, где их будет ждать накрытый по всем правилам поминальный стол.

Тер Азария промучился с заупокойной молитвой до положенного полудня. Потом в дом вошли мужчины – выносить гроб. Вытащили его с большим трудом – пять стариков и вовремя подоспевший Мамикон еле смогли поднять тяжеленную домовину. В дверной проем, из-за неестественной ширины, она не пролезала, поэтому пришлось наклонить ее немного набок и придерживать усопшую, чтобы та, не приведи Господь, не опрокинулась. За калиткой их поджидала запряженная осликом скрипучая деревянная телега, на которой Мукуч два раза в неделю ездил в долину за товаром. Гроб с облегчением водрузили на нее, и процессия двинулась узкой каменистой дорогой вверх, в сторону заросшего бурьяном старого кладбища.

– Цо! Цо! – полагающимся случаю скорбным шепотом подгонял ослика Мукуч.

В доме остались востроносая женщина и вторая – высокая, очень худая, ослепительно-голубоглазая и седая Ейбоганц Валинка, внучка отвоевавшего в царской армии Оника, который, демобилизовавшись, через слово вставлял в свою речь непонятное маранцам «ейбогу», за что и был прозван ими Ейбогом, а все его потомки стали Ейбоганц. Они хлопотали на кухне – нарезали крупными кусками кисловатый деревенский хлеб, раскладывали по большим плоским тарелкам ломти домашней ветчины и холодную отварную говядину, пучки мытой зелени и редиски. Выносить еду во двор станут перед самым возвращением людей, чтобы не заветрилась и мухи не засидели.

– Тер Азария чуть все слова не забыл, когда ее увидел, – хмыкнула востроносая, споласкивая в воде сливочно-жирные головки брынзы.

– Может, надо было сразу предупредить, что на ней туфли моего мужа? – задумчиво протянула Валинка.

– Может, и надо было. Только сначала не догадались, а потом уже как-то неудобно было.

Так как о таинственной истории с туфлями тер Азария ничего не знал, то сейчас, бросив всякие попытки придать лицу хоть какое-то бесстрастное выражение, с содроганием наблюдал, как трое стариков, навалившись всем телом, силятся плотно заколотить обшитую нелепым малиновым рюшем крышку домовины. Крышка сопротивлялась, елозила по гробу, но на место не вставала – то туфли мешали, то огромный живот покойницы. Старухи тихо ойкали и закатывали в ужасе глаза, но советовать не лезли – да и что тут посоветуешь, когда сама не знаешь, как быть.

В неловкой возне прошла, казалось, целая вечность. Наконец, кое-как приколотив крышку, мужчины опустили гроб в яму, спешно закидали его землей и расступились.

Тер Азария очнулся, пробормотал погребальную молитву, старики слушали его, опустив глаза. Один из них, закашлявшись, отошел в сторонку, чтобы не мешать священнику, а потом вовсе вышел в ворота, потому что кашель никак не унимался. Закончив с молитвой, тер Азария зачем-то осенил похоронную процессию крестным знамением и направился к воротам.

Обратно его повезли в той же телеге, в которой доставили на кладбище гроб.

Тер Азария ехал, вцепившись рукой в заусенчатый борт. Несмотря на небольшую скорость, трясло телегу изрядно. Конечно, можно было попросить Мукуча остановиться и пойти пешком, но этим он бы нанес ему смертельную обиду, поэтому тер Азария терпел, сцепив зубы, глядел строго вперед, только повороты до дома усопшей считал. Лишь однажды обернулся, высматривая Мамикона. Отыскав знакомый картуз, немного успокоился. Два часа пополудни, времени осталось не так уж много. Впереди поминки, а потом обратно в долину. Десять километров вниз по склону Маниш-кара, конечно, совсем не то же самое, что вверх. Но путь предстоит долгий, к закату только и управятся.

Глава 4

Солнце вставало долго, нехотя, словно в кошки-мышки играло: один бок выкатит, потом другой, облаком прикроется, обратно выглянет. Наконец, вдоволь наигравшись, оно резко оттолкнулось от дальнего конца горизонта, поднялось во весь рост и заполонило-затопило небо огненными лучами.

К наступлению утра Валинка успела переделать почти все дела: выпустила из курятника птицу – та быстро разбрелась по двору, квохча и кулдыкая, заглядывая под каждую травинку в поисках зазевавшегося дождевого червя или какого другого опрометчивого жучка, подоила и выпроводила в стадо животных, прополола на скорую руку огород. Натаскала из дождевой бочки воды, полила грядки, особенно тщательно – кресс-салат и кинзу, они мучительней остальной травы переносят жаркую погоду.

Управившись с делами во дворе, ушла в дом – готовить. Перед тем как закрыть за собой дверь, замерла на пороге, окинула довольным взглядом аккуратно прибранный двор. Дрова в

поленнице лежали одно к одному, полоскалось на утреннем ветру развешенное по порядку, тщательно выстиранное и в меру подсиненное белье, а начищенные песком медные казаны, что переводили дух после нещадного мытья, высыхали под деревянным забором и сияли так, что чуть ли не солнце затмевали.

Кухня сверкала чистотой – на старательно выскобленном полу при большом желании не найти и соринки, посуда в шкафчиках сложена в ровные невысокие стопки, чашки повернуты ручками направо, чтобы можно было взять одну, не задевая и не нарушая стройного порядка остальных.

Валинка затопила дровяную печку, поставила вариться общипанную и выпотрошенную с вечера курицу и собралась в погреб за мукой – пора было браться за тесто для сали [24]. Письмо, которое доставил Мамикон, принесло радостную весть – наконец-то приезжает Тигран, и не один, а со своей семьей – женой, приемной дочерью и полугодовалым сыном Киракосом, которого на северный манер звали странным именем Кирилл.

– Кирилл, – так и этак проговаривала Валинка, прислушиваясь к непривычному звучанию имени правнука, – Кирилл.

Конверт лежал на веранде – Мамикон, не обнаружив дома хозяйки, оставил его на полу, только камнем придавил, чтобы ветром не унесло.

– Хотел принести на похороны, но потом подумал – мало ли, вдруг разминусь с вами. Вот и оставил у порога, – развел он виновато руками, встретившись с Валинкой в доме Бехлванц Мариам.

– Не знаешь, что там было написано? – нетерпеливо перебила она его.

– Откуда мне знать? – оскорбился Мамикон. – Я чужих писем не читаю.

Улучив минуту, Валинка заторопилась, насколько ей это позволял почтенный возраст, домой, чтобы забрать письмо. В конверте, кроме исписанного мелким почерком тетрадного листка, обнаружились три фотографии. Она долго, с замиранием сердца рассматривала пухлого розовощекого правнука. Вот он спит в кроватке, повернув набок голову и выставив из-под одеяла кулачки, – Валинка расстроенно поцокала языком, почему его не запеленали, до восьмого месяца нужно туго пеленать младенцев, чтобы они спокойнее спали. Вот он криво улыбается беззубым ртом – не зря назвали Киракосом, точно так, криво и беззубо, улыбался его столетний прапрапрадед Киракос. На третьей фотографии была вся семья – заметно поседевший и располневший Тигран приобнимал за плечи семилетнюю приемную дочь, а рядом стояла смеющаяся жена и прижимала к груди насупленного младенца. «Ишь, – подумала с гордостью Валинка, любуясь недовольным личиком правнука, – такой клоп, а характер уже показывает!»

Анатолии на поминках не оказалось – она еще не окрепла после болезни, потому осталась дома. Валинка сунулась было к телеграфистке Сатеник, но та без очков для чтения не смогла и строчки разобрать. Пришлось набраться терпения и дожидаться конца траурной церемонии. Будь на то ее воля, она бросила бы все и помчалась к Анатолии, но неудобно было оставлять одну Мариам, выручившую ее в щепетильном вопросе передачи обуви на тот свет. Она терпеливо дождалась, когда люди разойдутся по домам, а потом еще помогла убрать со стола и перемыть посуду. Так что к Анатолии выбралась почти к закату, еще немного – и на Манишкар надвинулась бы темноликая южная ночь.

Застала она ее во дворе – сложив на груди руки, та наблюдала, как, закатывая глаза и повизгивая от неудержимого счастья, обгладывает большую мозговую кость Патро.

– Кому-то для счастья и суповой кости достаточно, – обратилась она вместо приветствия к гостье.

– А кому-то достаточно письма от внука, – радостно помахала конвертом Валинка.

---

[24] Слоеные лепешки с сахаром.

Анатолия вытащила фотографии, но отложила их в сторону – посмотрит после, первым делом нужно узнать, что в письме. Она быстро пробежалась глазами по строчкам – всегда так поступала на случай непредвиденных новостей, чтобы успеть подобрать правильные слова и предупредить адресата. Валинка ждала, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

– Тигран приезжает! – всплеснула руками Анатолия. – Вместе со своей семьей!

У Валинки перехватило дыхание.

– К-когда приезжает? – еле смогла выговорить она.

– Третьего июня.

– А сегодня какое число?

Анатолия возвела глаза к небу, пытаясь вспомнить если не дату, так хотя бы день недели, но потом махнула рукой и заспешила в дом. Валинка шла следом, теребя в руках пустой конверт.

– Васо, ай Васо, – позвала Анатолия, распахнув входную дверь.

– Хм, Нато-джан! – откликнулся Василий откуда-то из глубин дома.

Анатолия, застеснявшись ласкового обращения мужа, смущенно покосилась на Валинку. Но та, захваченная радостной вестью о приезде внука, ничего не замечала или же сделала вид, что не замечает.

– Васо, – спросила Анатолия. – Сегодня какое число?

– Первое!

– Первое! – Валинка застыла, словно громом пораженная, потом очнулась, хлопнула себя по коленям и заторопилась вниз по ступенькам. – Это что получается? Это получается, что они послезавтра приезжают?!

– Письмо! – крикнула ей вдогонку Анатолия.

– Письмо! – развернулась на ходу Валинка.

К тому времени, когда на пороге появился Василий, ее и след простыл.

– Что случилось? – спросил он у Анатолии.

– Послезавтра приезжает Меликанц Тигран. С семьей.

– А!.. – Василий сначала обрадовался, потом, вспомнив о своих сыновьях, сник. Большие, серебристо-серые его глаза мгновенно померкли, уголки губ дрогнули и поползли вниз.

Анатолия обняла его, прижалась к груди. «Чш-ш-ш-ш, ш-ш-ш». Он протяжно вздохнул, погладил ее по голове. «Все хорошо, Нато-джан. Все хорошо».

Возле садовой ограды, нелепо путаясь от спешки в лапах и грозно рыча на невидимых врагов, закапывал недоглоданную сахарную кость счастливый Патро.

За мукой пришлось идти в погреб. Стены каменного, даже в самый жаркий летний полдень хранящего прохладу помещения были увешаны пучками сушеных трав и початками красной кукурузы. На деревянных полках горлышком вниз стояли пустые банки – прошлогодние припасы за зиму иссякли, а для новых заготовок время еще не пришло. На самой верхней полке стояла картонная коробочка, наполненная доверху белыми шуршащими пакетиками. Валинка встала на цыпочки, дотянулась до нее, вытащила один пакетик, подошла к окошку, подслеповато разглядела срок годности. Обрадовалась, забрала коробку и заторопилась во двор.

Три года назад Тигран открыл в своем северном городе хлебопекарню. А спустя некоторое время, как раз в канун Рождества, от него пришла тяжеленная посылка – Мамикон, чертыхаясь, волок ее на макушку Маниш-кара целых полдня. Дошел, продрогший до костей, с синим от холода лицом и замерзшими в лед усами. Валинка налила ему горячего фасолевого супа и, чтобы сильно не бухтел, выставила бутыль тутовки. Тот заел суп маринованной купеной и полукругом домашнего хлеба, выпил две стопки самогонки, выпросил платок из козьей шерсти, обмотался им по самые глаза и засобирался в обратный путь. Но перед уходом помог Вано открыть посылку. В коробке с синими несмываемыми нашлепками северной почтовой

службы лежали несколько банок тушенки, рыбные консервы, колбаса в вакуумной обертке, три пачки крупнолистового черного чая и большая упаковка (50 шт.) сухих дрожжей.

– Что это такое? – повертела в руках пакетик Валинка.

– Говно, вот что это такое, – хмыкнул Мамикон.

– В смысле – говно?

– Дрожжи, моя невестка их вместо закваски в тесто добавляет. Оно от них быстро поднимается, но хлеб получается безвкусный. Ешь словно вату.

И, расстроенно поцокав языком, он зарылся носом в пуховый платок, махнул на прощание рукой и бесстрашно шагнул в пургу.

Валинка убрала со стола, перемыла посуду. Посидела немного, подумала. Не откладывая в долгий ящик, замесила на дрожжах немного теста – на пробу, испекла несколько лепешек на дровяной печи. Отрезала горбушку, пожевала задумчиво с сыром, потом с медом, потом с маслом. Вано отковырял кусочек, попробовал, скривился.

– Я есть такое не буду!

Валинка накинула на плечи тяжелый вязаный жакет, завернула в салфетку пол-лепешки, сходила к соседке.

– Ерунда, – вынесла та безжалостный вердикт, выплюнув хлеб.

– Как есть ерунда, – со вздохом согласилась Валинка.

Выкидывать присланные Тиграном дрожжи рука не поднялась. Поэтому она убрала оставшиеся пакетики в погреб и обещала себе избавиться от них, как только истечет срок годности.

И этот день, удивительным образом совпав с кануном приезда Тиграна, настал. Валинка торжественно вынесла дрожжи во двор. Серебристо-белые пакетики нарядно блестели на солнце.

Она повертела их в руках, подумала немного, сходила за ножницами, аккуратно разрезала каждый пакетик, высыпала содержимое в миску. Дрожжи выкинула в выгребную яму, а пакетики сложила стопкой, перевязала суровой ниткой и убрала в самый верхний кухонный шкафчик. На что-нибудь сгодятся.

И, наконец, с чувством исполненного долга, взялась за сали. Замесила тесто на воде, соли и муке, прослоила в несколько приемов растопленным до орехового привкуса сливочным маслом, убрала в холодный погреб – до завтра. Сали нужно есть горячим, так что испечет она его после приезда дорогих сердцу гостей. Пока суть да дело, курица отварилась. Валинка процедила жирный бульон, посолила его, промыла отменную, зернышко к зернышку, пшеницу, добавила в бульон, перемешала, оставила доходить на маленьком огне. Села отделять куриную мякоть от костей.

На верхней полке посудного шкафа стояла фотография Вано. Валинка собственноручно смастерила ей рамку из крышки той самой обувной коробки. Ему на этой фотографии было сорок лет и один год, ровно столько же, сколько сейчас их внуку Тиграну.

– Вано-джан, – подняла глаза на улыбающегося мужа Валинка. – Лицом в грязь не ударю и имени твоего не опозорю. Встречу как положено – вкусно накормлю, чисто постелю, буду ласкова и терпелива. Так что ты не волнуйся. Наз-стас-йа будет довольна.

Глава 5

Звезды еще не успели раствориться в небе, а ранние пчелы, деловито жужжа, уже летели навстречу просыпающимся растениям, и щебетали песнь новому дню влюбленные пичужки. Мир был прекрасен и безмятежен, мир радовался и пел, словно умытое и накормленное после долгого сна дитя. Воздух звенел тонко и звонко, воздух лился и струился капелью. Воздух витал, наполнял, реял, плескался, дышал и… пах. Пах так, что деревня в полном составе, не

считая уехавшего в долину Немецанц Мукуча и старого Анеса, которого угораздило именно в тот день слечь с приступом подагры, стекалась к дому Ейбоганц Валинки. Пришла даже Анатолия – под руку с Василием, это был ее первый выход в люди в сопровождении мужа, потому она старалась не высовываться, чтобы не привлекать к себе лишнего интереса, впрочем, зря – всеобщее внимание все равно было приковано не к ней, а к испуганной Валинке, которая, обмотав лицо платком, бестолково топталась на краю выплеснувшегося за ночь и затопившего часть двора содержимого выгребной ямы.

Всегда чистенький, аккуратно подметенный двор представлял собой такое жалкое зрелище, что каждый вновь прибывший, заглянув в калитку, отшатывался и, чертыхаясь или же возводя взор к небу, словно взывая к его состраданию, отходил в сторону.

– Как такое могло случиться? – то и дело спрашивали люди.

– Хотелось бы и нам знать! – отзывались те, кто пришел раньше.

– Это дрожжи, – выдохнула Валинка. Она боком протиснулась в калитку, стянула косынку, провела рукой по волосам, приглаживая выбившиеся из пучка пряди, потом зарылась лицом в ладони и разрыдалась.

– Какие дрожжи? – заволновались люди.

– Которые мне Тигран три года назад прислал. Негодные были, вот я и выкинула. А они, видно, не выдохлись. Лето на дворе, за ночь от жары перебродили, ну и… – заикаясь сквозь душные слезы, принялась рассказывать Валинка.

Кругом воцарилась оглушительная тишина. Маранцы недоверчиво переглянулись и снова уставились на нее, видно ожидая какого-нибудь продолжения или хотя бы исчерпывающего объяснения случившемуся. Но Валинка только всхлипнула и развела руками, давая понять, что все, объяснять больше нечего.

– Что она сказала?! – проскрипел Петинанц Сурен, тугоухий и замшелый девяностолетний старик. – Кто у нее там за ночь столько говна навалил?

Ованес прыснул. Следом расхохотались остальные мужчины. Сурен переводил недоумевающий взгляд с одного односельчанина на другого, потом махнул рукой и тоже рассмеялся.

– Помогите убрать. Внук сегодня приезжает. Ладно бы один, так с семьей! – взмолилась Валинка.

– Ага, то есть если бы он один приезжал, то можно было бы и не убираться, да? – съехидничал Ованес.

– Ну чего ты издеваешься над ней? – напустилась на него Ясаман – женщины веселья мужчин не разделяли, а, сложив на груди руки и недовольно подобрав губы, ждали, когда они отсмеются. – Если бы Тигран один приезжал, он бы сам все убрал. Его-то деревенским… добром не удивишь. Другое дело его северная жена!

– Ну да. На севере небось цветами какают! Не то что мы!

Ясаман цокнула языком и сердито отошла в сторону. Старики еще какое-то время веселились, подтрунивая над Валинкой, необдуманно выкинувшей дрожжи в выгребную яму, а потом, угомонившись, принялись совещаться, как справиться с бедствием, выплеснувшимся во двор.

После недолгих препирательств решено было выкопать яму, убрать туда отходы и утрамбовать землей, а отверстие в сортире прикрыть досками и залить намертво цементным раствором.

– Иначе оно будет бродить и пахнуть аж до самой зимы, – заключил Ованес.

– А куда нам до ветру ходить? – подала голос Валинка.

Ованес хотел отшутиться, но, напоровшись на суровый взгляд жены, передумал.

– К соседке пока будете ходить. Тигран приедет – поставим новый сортир. А пока так. У кого есть цемент?

Цемент нашелся у телеграфистки Сатеник. Заскорузлый, но годный.

На очистительные работы ушла большая половина дня. Лишь к вечеру, умаявшиеся и обессиленные, старики разбрелись по домам. Валинка предлагала накрыть для них стол, но они вежливо отказались. И помыться надо, и переодеться, да и после возни в… в общем, не до еды, соседка, извини.

– Хотела по-человечески внука встретить, а тут такое, – окидывая взглядом развороченный двор, утирала слезы Валинка.

– Так это, наоборот, к добру, – возразил ей уходящий последним Василий, – Каждое испытание отводит одну беду. Считай, откупилась от чего-то нехорошего.

Валинка покивала его словам, но не утешилась. Выпроводив всех, затопила печь и, пока вода грелась, постаралась по возможности привести в порядок двор – подмела, отряхнула и сложила бумажный мешок из-под цемента – потом вернет Сатеник, может, на что-нибудь сгодится, – перетащила в хозяйственное помещение ведро с водой, в которой отмокали выпачканные в цементном растворе лопаты. Неприятный запах, поднявший с раннего утра на ноги всю деревню, понемногу развеялся, остался лишь сыровато-мглистый дух застывающего цемента, но Валинку он не беспокоил. Справившись с уборкой, она быстро помылась, нещадно натирая себя кусачей мочалкой. Одежду, в которой проходила этот день, связала в узел и спрятала у себя в комнате – потом перестирает.

Причесалась, заплела влажные волосы в две косички, закрепила их шпильками на затылке. Надела чистое платье, повязала шелковый передник. Печка мирно трещала, понемногу отходя от жара. Валинка сходила в погреб – за арисой[25], поставила ее разогреваться, а сама вышла на веранду, села на скамью, которая стояла так, чтобы отгородить от людского присутствия то место, где раньше обитал павлин, сложила на коленях руки и терпеливо принялась ждать. К тому времени, когда телега Немецанц Мукуча остановилась возле ее калитки, она мирно спала, умаянная бесконечно суетным днем и долгим ожиданием.

Глава 6

Деревня оказалась ровно такой, какой представляла ее себе по рассказам мужа Настасья – каменная, с осыпающимися черепичными крышами, дряхлыми искривленными заборами и цепляющимися за подол неба трубами дровяных печек. На второй день после приезда она обошла ее почти за час. Кирюша спал, свернувшийся калачиком в привязке, которую в два счета смастерила из большой клетчатой косынки Валинка. Алиса крутилась рядом, то подлетала с очередным пушистым цветком желтой мальвы – мам, понюхай, как смешно пахнет, то

[25] Пшеничная каша с мясом.

убегала вперед и ждала, нетерпеливо подпрыгивая на одной ножке, – а вот этот дом совсем уже сломался, видишь, крыша дырявая и входная дверь нараспашку, пойдем, пойдем?

– Пойдем, – соглашалась Настасья, но в жилища не заходила – мало ли, вдруг стена или потолок рухнет. Стояла во дворе, внимательно изучая изъеденные жуком деревянные подпорки веранд, – кое-где, если присмотреться, можно было еще разглядеть незамысловатый узор – чаши, кресты и солнечный диск. Фасады домов увивала одичавшая виноградная лоза, насквозь проржавевшие замысловатые щеколды на калитках тягостно скрипели, выпуская непрошеных визитеров обратно на неудобную для ходьбы дорогу – шершавую, каменно-загрубев-шую, вздыхали вслед сгибающиеся от болезней давно не плодоносящие фруктовые деревья. На веранде одного покинутого дома висели несколько рядов сохнущих табачных листьев, видно, кто-то из деревенских использовал его для своих нужд, мам, а что это такое, повернула к ней веснушчатое личико Алиса, это табак, пояснила Настасья.

– Кто бы мог подумать, что сигареты из травы делают! – озадаченно покачала головой Алиса.

Настасья осторожно рассмеялась – так, чтобы не разбудить спящего сына. Любопытство дочери хоть и забавляло ее, но в то же время мешало сосредоточиться.

– Ты не обидишься, если в следующий раз я без тебя пойду погулять? – спросила она.

– Я тебе мешаю? – надула губы Алиса.

– Нет. Но мне хочется сосредоточиться, понимаешь?

– Тебе снова надо подумать?

– Да.

– Хорошо. Можешь завтра без меня идти. Я останусь с папой.

– Спасибо тебе, доченька, – растрогалась Настасья.

– По-жа-луй-ста! – И Алиса ускакала вперед, ловко перепрыгивая с одной размытой дождями дорожной ухабины на другую.

Валинка встретила их у калитки – стояла прикрыв от солнца ладонью глаза. Настасья который раз подивилась ее безыскусной красоте – ослепительно-синие на загорелом лице глаза, длинный прямой нос, упрямо поджатые тонкие губы. Порадовалась тому, что Тигран научил их с Алисой немного изъясняться на маранском, иначе как бы они общались с прасвекровью?

– Устали? – спросила Валинка, забирая у невестки сонного младенца.

– Нет! – звонко крикнула Алиса и, прошмыгнув мимо, помчалась к Тиграну, работающему в дровяном сарае, определенном Валинкой под нужник.

– Смысл браться за основательное? – махнула она рукой, когда внук предложил построить каменное сооружение. – Я тут одна живу, да и сараем давно уже не пользуюсь – видишь,

все дрова сложены под навес, чтобы недалеко было таскать. Ты просто выкопай в углу яму, прикрой досками и поставь ширму. Обойдемся.

– Разберусь с нужником, возьмусь за стену в спальне, – обещал Тигран.

– Стену не трогай. В эту трещину улетела душа твоего деда. А скоро моя очередь туда улетать.

– Наверное, потому он всю жизнь воевал с ней. Видно, знал, что дело этим и кончится, – ответил Тигран. Говорить о смерти деда было невыносимо тяжело – мучила совесть. Все тянул с приездом, то одно мешало, то другое, а когда, наконец, собрался, не застал его живым. И на похороны не успел, но это уже была не его вина, о том, что деда уже нет, он узнал спустя неделю, когда телеграмма, каким-то злым роком затерявшаяся на почте, наконец дошла до него. Выбраться в Маран удалось лишь спустя месяц, хотел один, потому что ехал не с намерением погостить, а забрать к себе бабушку, но жена настояла на том, чтобы они поехали всей семьей.

– Когда еще мне удастся увидеть края, откуда ты родом?

Истинную цель приезда Тигран попросил ее пока не раскрывать.

– Она откажется. Не захочет оставлять без присмотра могилы родных. Пусть сначала привыкнет к вам. Привыкнет – трудней будет расставаться. Тогда мы ей и предложим уехать с нами.

– А если не согласится?

– Переубедим.

Первым делом они с Настасьей, поручив детей Валинке, сходили на могилу Вано. Со дня отъезда Тиграна кладбище мало изменилось, если только прибавился десяток деревянных крестов – последние несколько лет, с того дня, как умер каменщик, они заменяли традиционные надгробья. Настасья оставила мужа одного, чтобы позволить ему в уединении оплакать свою боль, а сама пошла бродить по заросшему пестрой овсяницей и змеевиком погосту. Пробираться к старым надгробьям через плотные заросли было сложно, но она не сдавалась – ей важно было подойти ближе, чтобы разглядеть подернутый лишайниковыми подпалинами каменный узор, она водила по выбитым в сердцевине каменных плит ажурным крестам ладонью, поражаясь их смиренной красоте, и старалась запомнить ненавязчивую утешительность робкого прикосновения своей руки к их теплым бокам. От надгробий веяло веками и обреченностью.

Настасья не сразу сообразила, что они стоят не в изголовье, а в ногах покойников, поворотившись лицом на запад. Чтобы проверить свою догадку, она вернулась к новым могилам и удостоверилась, что все так и есть, – у этих деревянные кресты, в отличие от каменных, стояли в изголовье. Мужа тревожить расспросами она не стала – Тигран был хмур и молчалив, возвратившись с кладбища, ушел в дальний конец сада и провел там долгое время, непрестанно куря и не сводя взгляда с кромки обрыва.

– Это двери, – пояснила ей шепотом Валинка – на тахте, обложенные со всех сторон мутаками, спали сморенные разреженным горным воздухом дети, а она сидела рядом и стерегла их сон. – Когда настанет день Страшного суда, покойник поднимется, распахнет дверь и войдет в рай. Потому каменные надгробья с крестами и ставят в ногах.

– А как же те, у которых обычные деревянные кресты?

– Другие покойники заберут их с собой.

– Надо же… – только и смогла выговорить Настасья.

Кирюша завозился, чмокнул губами, шумно вздохнул. Она потянулась к нему, но Валинка опередила – помогла младенцу повернуться на бок, погладила по спинке, расправила ворот распашонки, чтоб не натирал нежную кожу.

Поднялась, уступая невестке место:

– Ты полежи, пока дети спят, отдохни, а я пойду займусь обедом.

– Я помогу.

– Завтра поможешь. Сегодня ты пока гость. На третий день уже гостем не будешь. Тогда и поможешь.

– А кем я тогда завтра буду? – улыбнулась Настасья.

Валинка затянула на затылке концы косынки, отряхнула передник.

– Хозяйкой будешь, Наз-стас-йя-джан.

– Зовите меня Стасей.

– Как?

– Стася.

– Ладно, будешь Стася. Ты отдохни, дочка, потому что дел потом будет много. Завтра спозаранку пойдем собирать авелук[26]. Заодно с деревенскими старухами познакомишься. А Тигран со стариками встретится, им будет о чем поговорить. В воскресенье накроем стол, позовем всех в гости. Чтобы в деревне, наконец, тебя узнали.

Настасью подмывало спросить, для чего такие церемонии, но она сдержалась.

– Хорошо.

Дождавшись, когда Валинка выйдет из комнаты, она разулась, осторожно легла в ногах детей, подложила под голову тугую мутаку. Грудь покалывало и тянуло, словно перед кормлением, и это очень беспокоило Настасью – молоко у нее перегорело еще месяц назад, за одну ночь, когда она переболела сильным гриппом. С какой стати после долгого перерыва грудь ныла так, словно наполнялась молоком, Настасья не знала. Она твердо пообещала себе сразу после возвращения показаться специалисту. Успокоившись, закрыла глаза. Вспомнила последнюю неделю – долгие сборы, как накануне отъезда внезапно простыла и засопливилась Алиса, как капризничал всю дорогу мучившийся деснами Кирюша, как поднялось давление у мужа, а таблеток под рукой не оказалось, она успела сто раз проклясть тот день и час, когда напросилась с детьми в поездку, но ничего уже нельзя было изменить. Промаявшись всю долгую дорогу, радостного от встречи с Мараном Настасья не ждала, потому, когда в долине они встретились с Немецанц Мукучем, который должен был доставить их на своей телеге на макушку Манишкара, она еле сдерживала слезы. Немецанц Мукуч, исполинского роста седовласый и кареглазый старик, обнялся с Тиграном, а потом протянул ей руку – здравствуй, дочка; почему вас зовут Немецанц, спросила Настасья, пожимая его сухую ладонь, потому что дед мой вернулся с мировой войны с женой-немкой, ну и стали нас в память о бабушке звать Немецанц, ответил Мукуч и состроил смешную козу Кирюше, тот заулыбался, потянулся к седобородому незнакомцу, вылитый Киракос, хохотнул старик и вопросительно глянул на Настасью, выпрашивая позволения взять младенца. Настасья тотчас отдала ему сына и улыбнулась – знаете, а ведь мой прадед тоже воевал на той войне, и тоже вернулся с женой-немкой; вот видишь, как хорошо, ответил старик, трогательно тетешкаясь с Кирюшей, мир маленький, а мы большие, хотя по наивности и глупости всю жизнь считаем наоборот.

– Стася-джан, ты, главное, корень не обрывай, не то растение обидится и в следующем году не вырастет, – объясняла Ясаман, показывая, как нужно правильно обрезать ножом стебель конского щавеля – так, чтобы оставался торчащий из земли крохотный вершок.

Настасья кивала, напряженно прислушиваясь к трудной, местами стрекочущей, шершавой речи.

– Вы только… ммм… тихо говорите, чтобы я понимала, – попросила она.

– А я разве ору? – развела руками Ясаман.

Валинка рассмеялась.

[26] Конский щавель.

– Она хочет сказать – медленнее говори. Строчишь как пулемет, вот она твою скороговорку и не понимает.

– Буду медленно, – обещала Ясаман.

Настасья обернулась к огромному раскидистому дубу, под сенью которого, на сложенном вдвое домотканом пледе, лежал Кирюша. Сидящая рядом Анатолия сделала успокаивающий жест рукой – все в порядке, не волнуйся. Из-за слабого здоровья толком насобирать конского щавеля ей не удалось – через полчаса закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Потому ее назначили ответственной за ребенка, а остальные женщины, согнувшись в три погибели, медленно продвигаясь вверх по пологому склону, обрезали ножами и складывали в мешки волнистые по краю листья авелука, стараясь сохранить всю длину стебеля.

– Стебли тоже съедобные? – полюбопытствовала Настасья.

– Нет, мы их потом выкинем, – ответила Валинка.

Настасья решила, что прасвекровь иронизирует, но та даже не улыбалась.

– Сейчас соберем авелук, и ты поймешь, зачем нам стебли.

Алиса обрывала первую, еще не успевшую созреть землянику и ела, гримасничая от горчинки.

– Зачем ты ее портишь? Оставь, пусть созреет, – сделала ей замечание Настасья.

– Мне так вкусно!

– Созреет – будет вкуснее.

– Ладно, съем еще две штучечки и все!

Солнце давно уже поднялось, но день выдался милосердно облачным, подгоняемая ветром туманная дымка затянула небо от одного его края до другого, воздух был золотист и влажен и остро пах пряными травами, названий которых Настасья не знала. Она дышала глубоко и свободно, приноравливаясь к новому для себя ощущению размеренности бытия, которым было пронизано вокруг все – начиная от обступающего макушку Маниш-кара древнего леса, каждое дерево которого, казалось, говорило на своем языке, и заканчивая людьми.

Старухи работали не торопясь, подоткнув передники так, чтобы можно было в образовавшийся карман складывать авелук. Собрав достаточное количество, они семенили к мешкам и складывали туда влажные пучки зелени. Настасье тоже выдали передник, но подтыкать его так, чтобы край не отматывался, она не умела, потому придерживала его рукой.

– Может, отдохнешь, дочка? – предложила ей Валинка.

– Ну что вы! – смутилась она. – Вы, значит, будете работать, а я должна отдыхать?

– Так мы всю жизнь этим занимаемся. Привыкли уже.

– Мне в радость.

– Ну, раз в радость…

Настасья аккуратно обрезала стебель авелука, сложила в пучок, потянулась к следующему кустику и вдруг замерла. Саднящая тягучей болью грудь внезапно онемела и увлажнилась. Она резко выпрямилась, полезла рукой в вырез платья, нащупала один взбухший сосок, потом другой. Отогнула чашку бюстгальтера – та промокла почти насквозь.

– Я сейчас, – шепнула прасвекрови и заторопилась к вековому дубу. Кирюша, агукая и пуская пузыри, ползал по краю пледа и увлеченно рвал травинки, которые Анатолия тут же выковыривала из его пухлых кулачков.

– Я сейчас, – повторила Настасья, выудила из сумки носовой платок, нырнула за широкий ствол дерева, расстегнула платье, высвободила грудь и ахнула. Соски струились молоком. Она ринулась было кормить ребенка, но тут же одернула себя – испугалась, что внезапно вернувшееся молоко навредит малышу. Недолго думая, согнулась пополам и принялась поспешно сцеживаться, надавливая ладонями на грудь от основания в направлении сосков. Молоко лилось струями на незабудки, обильно растущие под дубом, стекало вниз по лепесткам и травинкам и исчезало в земле.

– Все в порядке? – позвала Анатолия.

– Да-да, – поспешно ответила Настасья.

Закончив со сцеживанием, она привела себя в порядок, разорвала носовой платок пополам, проложила чашечки бюстгальтера так, чтобы защитить от мокрой ткани соски. Кирюша при виде матери закапризничал, попросился на руки, Настасья подняла его, прижала к себе, расцеловала в пухлые щеки, зарылась носом в складочку на шее, вдохнула нестерпимо родной аромат нежной детской кожи.

– Сы-ы-ночка.

Анатолия глядела на нее и улыбалась. Потом тяжело вздохнула, опустила глаза:

– А мне так и не удалось родить ребенка.

Настасья положила Кирюшу на плед, тот захныкал, недовольный, сейчас-сейчас, потерпи немного, попросила она, нашарила в сумке бутылочку со смесью и протянула Анатолии – покормите?

– Конечно покормлю, – Анатолия повернула младенца на бочок, так, чтобы ему легче было пить, заправила под щечкой пеленку, – ты не думай, Стася-джан, я умею обращаться с детьми. Вон Ясаман спроси. Я в свое время с ее внуками сколько провозилась!

– А где теперь внуки Ясаман?

– На войне погибли.

– А дети?

– Кто в голод ушел, кто в годы войны.

– Может… Я, конечно, ни на чем не настаиваю, – нерешительно начала Настасья, – но я подумала… Вдруг у вас нет детей потому, что Бог хотел уберечь вас от неподъемного горя?

Анатолия подняла на нее свои необычайно темные – аж зрачок не разглядеть – глаза.

– Может быть, дочка.

Вечером Настасья пошла прогуляться по Марану. Впереди, мелькая испачканными в дорожной пыли пятками и радостно щебеча, летела Алиса, Кирюша спал, свернувшись калачиком в привязке, – посоветовавшись с Валинкой, Настасья все-таки решилась покормить его, он взял грудь неохотно, видно, привык к сладкой искусственной смеси, но потом вовлекся, да так и уснул, а при попытке переложить его на тахту хныкал и цеплялся ноющими деснами за сосок. Настасья, прижимая его к себе, брела по деревне, от одного покинутого дома к другому, останавливалась возле каждой калитки, вглядывалась в подслеповатые наличники окон, осыпающиеся стены, в щелях которых давно уже свили гнезда птицы, забитые ветряным сором ржавые водостоки, иссохшие заборы – их колья торчали из земли, словно сгнившие зубы доисторического дракона. Иногда, наглядевшись на очередное строение, она водила пальцами по воздуху, словно хотела ухватить ускользающую суть того оглушительного одиночества, которым разило от каждого дома – будь тот обитаем или нет. Как же такое могло случиться, спрашивала Настасья и не находила объяснения. Деревня молчала, пестуя в своих каменных объятиях бесконечную печаль.

Руки пахли горчащим соком – она вспомнила, как неумело плела сегодня авелуковые косички, попеременно добавляя в каждую новую прядь по листику и оставляя торчать наружу стебли – плетенка походила на колос пшеницы, только длинный, в полтора-два метра. Потом торчащие усики-стебли аккуратно обрезали ножницами – теперь ты понимаешь, зачем они нам были нужны, чтоб легче заплетать в косички листья, объясняла прасвекровь.

– А дальше что нужно с ними делать?

– Хвостики оставим скотине, а косички развесим на бельевой веревке и дадим хорошо высохнуть. Потом сложим в холщовые мешочки и оставим на зиму.

– Готовить как?

– Просто. Провариваешь в кипятке, сливаешь воду, тушишь с жареным луком, поливаешь схтор-мацуном, ешь с хлебом и брынзой. Если праздник – посыпаешь зернышками граната и тертым грецким орехом. Так нарядней.

– Вкусно?

– Тебе не понравится, – рассмеялась Валинка.

– Почему?

– С непривычки любая еда кажется невкусной.

– Я привыкну, – зачем-то обещала ей Настасья.

Валинка обвязала кончик авелуковой плетенки суровой нитью, обмотала вкруг, отложила в сторону, взялась за следующую.

– С прошлой зимы осталось немного. Приготовлю. Вдруг тебе и впрямь понравится.

Когда Настасья уходила, на бельевой веревке, покачиваясь в такт дыханию ветра, сушились восемнадцать толстых авелуковых кос. Тигран проводил ее до конца улицы, а потом, уступив заверениям, что в сопровождении нет никакой нужды, возвратился в дровяной сарай – к работе.

И Настасья осталась лицом к лицу с Мараном.

Вернулась она спустя два часа, сосредоточенная и задумчивая.

– Знаешь, о чем я сожалею? – спросила она, когда, выкупав и уложив детей спать, они с мужем пили на веранде заваренный Валинкой чай с чабрецом. – О том, что под рукой нет карандаша и бумаги.

– Можно попросить Немецанц Мукуча, он привезет из долины.

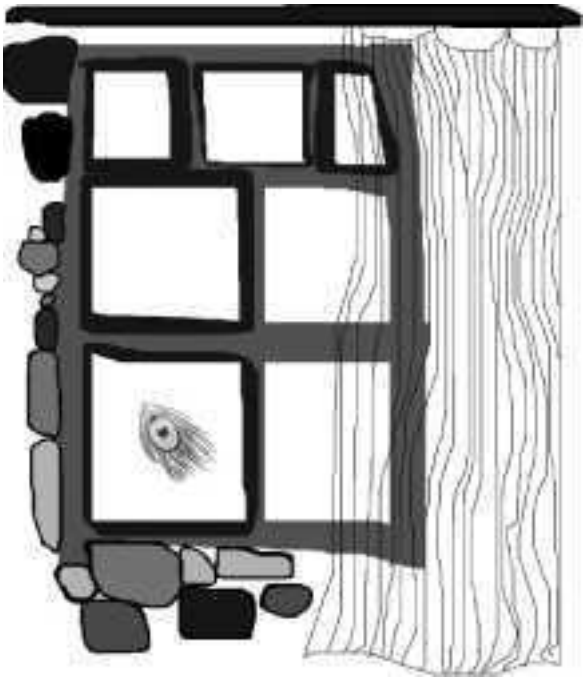
– Попроси, пожалуйста. Я не уверена, что получится, много лет не вспоминала о рисовании. Но сейчас почему-то захотелось.

Тигран обнял ее за плечи, поцеловал в висок.

– Хорошо.

Глава 7

К концу второй недели на подоконнике высилась изрядная стопка карандашных набросков. Валинка перебирала шершавые, исчерканные темным грифелем листы бумаги, разглядывала долго и вдумчиво, вздыхала, цокала языком. Поговорить с невесткой толком не получалось – забота о детях отнимала много времени и сил, да и маранским Настасья владела слабенько, часто сама раздражалась от того, что не может правильно сформулировать и донести до прасвекрови свою мысль.



Тигран пропадал целыми днями, ходил по домам стариков, ремонтировал все, что мог починить: укреплял заборы, срубал иссохшие деревья, колол дрова, латал на скорую руку крыши, прочищал трубы дровяных печек, выносил на околицу и сжигал ненужный хлам, выбивал на солнце дряхлые выцветшие ковры. Помогал, как мог. Алиса часто увязывалась за ним, вертелась рядом, охотно общалась со стариками, рассказывала какие-то свои истории, те расцветали от ее щебета, становились разговорчивей, улыбались. Мастерили ей кривобокие игрушки, дарили безделушки и учили делать цветочных куколок – вывернул бутон мака наизнанку, аккуратно вырвал сердцевину, насадил на стебель, расправил кокон лепестков – получается черноволосая цыганка в алых маковых юбках. Алиса следила, затаив дыхание, личико веснушчатое, солнечное, глаза зеленые, кошачьи, волос соломенный, легкий, словно одуванчиковый пух. Бегала с каждой цветочной куколкой к Тиграну – пап, видишь, какая получилась красота? На расспросы Валинки внук вскользь и неохотно упомянул о тяжелом разводе и нежелании настоящего отца общаться с дочерью и принимать хоть какое-то участие в ее воспитании. Валинка покачала головой, повздыхала, а на следующий день, обойдя соседок и выпросив недостающие ингредиенты, испекла большой коричный пирог, чрезвычайно трудоемкий в приготовлении – пять песочных коржей, пропитанных кремом из уваренных в меду жареных орехов – грецкого, миндаля и фундука, такую выпечку раньше подавали на торжество по случаю крестин, а Валинка испекла ее для маленькой девочки, которая по закону жизни не имела к ней никакого отношения, но по закону сердца была ближе и родней любимого внука. Алиса ела пирог, светясь от счастья, нахваливала и просила добавки.

– Ты потом сделаешь мне точно такой же торт? – пристала она с расспросами к матери.

Пришлось Настасье записывать под диктовку подробный рецепт и клятвенно обещать дочери испечь коричный пирог к Рождеству.

– Справишься? – засварливилась та. Женщины, переглянувшись, фыркнули – общение со стариками не прошло даром, Алиса переняла их ворчливый тон и манеры – стояла, криво подбоченившись, и, вытянув шею, глядела исподлобья.

– Ишь! – Настасья дернула дочь за косичку. Та вывернулась, цапнула со стола горсть алычи и убежала к отцу.

Валинка наблюдала за невесткой и ее дочерью с улыбкой. Они были удивительно похожи – одинаково легкие, изящные, длинноногие.

– Наш народ другой, – задумчиво протянула она, – мы крупные, основательные, горбоносые, неповоротливые. А вы порхаете, словно бабочки.

– Вы очень красивые, – отозвалась Настасья. – И… словно каменные. В Маране, по-моему, все каменное. Дома. Деревья. Люди. И… – Она пощелкала пальцами, вспоминая слово. – Высечены, да. Высечены из камня.

Дождавшись, когда невестка, покормив и уложив спать Киракоса, уходила рисовать деревню, Валинка принималась рассматривать ее наброски – кладбище, косой луч света в узком окне часовни, дождевые бочки, колесо телеги, привязанный к одинокому деревцу ослик, глиняные карасы, кустик просвирняка. В отдельной стопке лежали несколько неоконченных портретов Анатолии – та с Ясаман часто заглядывали к ним в гости, Настасья усаживала ее у окна и рисовала, пока Ясаман, давая отдохнуть Валинке, нянчилась с младенцем. Анатолия распускала косу – волос у нее, несмотря на немалый возраст, сохранил густоту и удивительный медовый отлив, Настасья ахала от восторга – надо же, какое редкое и удивительное сочетание смуглой кожи и пшеничных, с рыжинкой, волос, красота, красота! Анатолия же водила плечом – ничего особенного, Стася-джан, взяла одно у отца, другое – у матери, вот и получилась такая внешность.

Ясаман шепотом жаловалась Валинке на подругу, здоровье которой, несмотря на лечение травами, не улучшалось.

– Не могу заставить ее уехать в долину – показаться врачам. Никого не слушается – ни меня, ни Василия, ни Ованеса. Ослабла совсем, то голова закружится, то ноги не ходят. На той неделе в обморок упала, еле в чувство привели.

– Хочешь, я поговорю с ней?

– А толку? Все равно сделает по-своему. Еще и обидится, что тебе на нее нажаловалась!

– Ну что поделаешь. Не маленькая, чтобы заставлять.

– Ничего не поделаешь, да.

Несмотря на болезненный вид, на портретах Настасьи Анатолия получилась настоящей красавицей – молодая, трогательно-светящаяся. Иногда Валинке казалось, что невестка намеренно ее приукрашивает, а иногда – что никакой приукраски нет, и что именно такой она Анатолию и видит. Да и вся деревня на ее рисунках выходила такой, какой давно не была. Словно Настасья намеренно обходила следы старения и унылого разрушения, оставляя Марану тишину и счастливую умиротворенность. Казалось, она относится к этому чужому для себя краю с таким состраданием и пониманием, словно ощущает свою личную ответственность за ту горькую участь, которая выпала на его долю. Ей удивительным образом удавалось подметить или интуитивно вычислить то, чего давно уже не замечали старики. Валинка повертела в руках подробный рисунок кормушки, что стояла во дворе Немецанц Мукуча. Казалось бы – обыкновенная кормушка, низкорослая, кособокая, испачканная куриным пометом. Но надо же было такому случиться, чтобы именно ее облюбовали деревенские чижи. Дождавшись вечера, они прилетали целой стаей и устраивали в ней шумную возню. Домашняя птица наблюдала это копошение издалека, и лишь старый индюк, сварливая бестолковая сволочь, которому у Мукуча все рука не поднималась свернуть шею, ходил кругами и злобно клокотал, тряся багровым наростом на клюве. Впрочем, чижей возмущение индюка не волновало. Поскандалив какое-то время и подъев все подчистую, они разом взмывали ввысь и улетали в сторону леса. На расспросы Настасьи, почему птицы прилетают стаей именно в его двор, старик Мукуч разводил руками – откуда мне знать, дочка, наверное, так было задумано, потому что так было всегда. Маранцы давно уже свыклись со странным поведением чижей, а Настасья, гостившая в деревне всего две недели, не только заметила это, но еще и не поленилась нарисовать облепленную птицей кособокую кормушку. На вопрос Валинки, зачем она это делает, ответила с обезоруживающей искренностью – сама не знаю.

Или же история с оградой на краю обрыва, где покоился павлин. Вано каждый вечер наблюдал эту ограду сквозь закатные лучи, а Валинка ухаживала за горными лилиями, посаженными Тиграном на могильном холмике, и никто из них не подозревал, что по углам, там, где проходит сваренный шов, кованый узор складывается в буквы «К» и «В».

Разглядела их Настасья, перерисовала, показала мужу. Тигран не поверил своим глазам, сходил к ограде, удостоверился, что жена права.

– Но как тебе удалось различить эти буквы? Ты не знаешь нашей письменности!

– Я видела их на крест-камнях и запомнила!

Валинка с удивлением рассматривала очерченный невесткой узор ограды. Они с Вано едва умели складывать буквы в слова, но знали ведь, как выглядят и «», и «Ч». Не увидели, не рассмотрели.

Сразу на нескольких листах Настасья подробно изобразила обрушенную веранду отцовского дома Якуличанц Магтахинэ, с матерью которой в свое время, пока та совсем не сошла с ума, Валинка дружила. Настасья поймала тот ракурс, где обваленные и давно уже проросшие мхом прогнившие балки складывались в старческий профиль. Приглядеться – лицо отца Магтахинэ – нос с характерной горбинкой, насупленные брови, тонкие губы. Валинка специально сходила, посмотрела. Так и есть, лежит Якуличанц Петрос, ровно такой, как в день своих похорон. Ушел, но остался в развалинах своего дома.

Налюбовавшись рисунками невестки, она складывала их в стопку, убирала на подоконник. Поднимала полог люльки, прислушивалась к дыханию спящего Киракоса. Вот он, последний мальчик Марана. Других нет и уже не будет. Молодые уехали, а старики уйдут, не оставив за собой даже воспоминаний.

– Ну и ладно, ну и пусть, – легко соглашалась с горькой реальностью Валинка. – Наверное, так было задумано, потому так и будет.

О забытой на чердаке картине она вспомнила совершенно случайно. Объясняла невестке, как нужно правильно развешивать простиранное белье – по типу, по цвету.

– Надо же сколько правил, – смеялась Настасья, расправляя влажный край простыни.

– Такты думала! По тому, как женщина развешивала белье, люди судили, какая она хозяйка. Не поверишь, об этих хитростях знали даже мужчины. Даже моя свекровь знала, царствие ей небесное, даром что была княжеских кровей, заварить чая не умела, а как нужно правильно развешивать белье – знала!

– Ваша свекровь была княжной? – удивилась Настасья. – Прабабушка Тиграна?

– Он тебе не рассказывал? Видно, не придал значения. Потому их род и называют Меликанц, что… – тут Валинка осеклась, заморгала, потом хлопнула себя по лбу, – как я могла запамятовать! Пошли, Стася-джан, покажу тебе чего. Ты рисуешь, тебе это будет интересно.

И, бросив развешивать белье, она заторопилась в дом, на ходу вытирая мокрые руки подолом передника и ругая себя за забывчивость.

Лестница на чердак располагалась в большой угловой комнате на втором этаже, определенной Валинкой под хранение шерстяных одеял, матрасов и тугих, плотно набитых гусиным пухом, подушек. Дверь этой комнаты с приезда гостей держалась взаперти – из опасения, что Алисе вздумается вскарабкаться по ненадежной чердачной лестнице, старые ступеньки которой отзывались на каждый шаг недовольным скрипом, облетали трухой и тяжело прогибались – дерево местами прогнило и грозилось обвалиться.

– Надо попросить, чтобы Тигран ее укрепил, – опасливо оглядывая каждую ступеньку, сказала Настасья. Она шла за прасвекровью, след в след, не дыша, держась рукой за стену – опираться о шаткие перила побоялась.

Валинка с оханьем переставляла ноги:

– Стара я стала, колени совсем больные, нужно на ночь сделать картофельное обматывание.

– Помогает?

– Немного помогает. Натираешь сырую картошку, добавляешь ложку крупной соли, обмазываешь колени, закутываешь платком и подкладываешь под ноги мутаку, – Валинка толкнула дверцу чердака, та со скрипом распахнулась, дыхнула в лицо унылым запахом лежалых вещей, – я тут давно уже не прибиралась, дочка, сил не хватает. Осторожно, не испачкайся.

Настасья заглянула в помещение и ахнула – просторный, но забитый донельзя отслужившими срок вещами чердак показался ей местом, где не просто остановилось, а запуталось-забылось время. Все пространство вокруг было заставлено покрытыми налетом пыли и паутины старыми сундуками, казанами, чанами, пустыми глиняными карасами, мебельной рухлядью – шифоньер, табуреты, сломанный стул. На переднем плане, повернувшись к ней искривленной ручкой, стоял медный кувшин – высокий, длинношеий, в бирюзовых пятнах окиси. Настасья не удержалась, украдкой погладила его по пыльному боку, попыталась поднять крышечку, но тщетно – та держалась намертво.

– Вот как надо делать. – Валинка наклонилась, надавила пальцем на невидимую кнопку – крышечка со щелчком откинулась набок, открывая узкое горлышко кувшина.

– Знаешь, кто его сделал? Дядя Василия. Хорошие были у Кудаманц Арусяк сыновья, рукастые. Отец Василия был знатным кузнецом, а дядя – медником. Одно время все женщины Марана с такими кувшинами на родник ходили. Была у них одна важная особенность – в любую погоду вода в них оставалась холодной.

Валинка повернула кувшин, продемонстрировала дырявое дно.

– Давно прохудился, а починить некому. И выкинуть рука не поднимается.

– Еще бы, такую красоту выкидывать!

– По правде говоря, я не из-за красоты его храню, – возразила Валинка. – А в память о людях, которых знала. Видишь эти карасы? Их дед Бехлванц Мариам сделал, той старухи, со свекровью которой я туфли Вано на тот свет передала. А вот этот ларь, – Валинка похлопала по тяжелой крышке, – сколотил плотник Минае. Хороший был старик, совестливый. Умер в войну, не дожил до похоронки на сына два дня. Бог его пожалел, раньше забрал.

Валинка заглянула за большой деревянный ларь, поелозила там рукой, нащупала потемневший край рамы.

– Стася-джан, помоги достать, одна не справлюсь.

Настасья вцепилась в другой угол рамы и осторожно вытянула тяжеленную и чудовищно грязную картину. Валинка достала из ларя ветошь, протянула невестке – давай ты протрешь, дочка, я боюсь попортить. Настасья принялась аккуратно счищать плотный налет грязи, но толку от этого оказалось мало – полотно было испачкано до такой степени, что различить, что на нем изображено, не представлялось возможным.

– Свекровь ее тут спрятала. – Валинка распахнула единственное окно чердака настежь, надрывисто закашлялась.

С трудом отдышавшись, утерла тыльной стороной ладони выступившие слезы. – Всю жизнь кашляю от пыли.

Настасья заволновалась.

– Идите вниз, я сейчас тоже приду. Вот только отнесу в хозяйственную комнату картину, вдруг я смогу… – она попыталась придумать на маранском синоним к слову «реставрировать», но быстро сдалась, – починить ее.

Валинка кивнула.

– Как скажешь, дочка. А я тогда белье довешаю.

– Сколько лет она тут пролежала? – спросила вдогонку Настасья.

Валинка застыла в проеме чердачной двери.

– Да целый век, наверное. Мы с Вано, если честно, ни разу ее не видели. Пока свекровь была жива, никого к ней не подпускала, а к тому времени, когда она померла, мы об этой картине напрочь забыли. Диву даюсь, как это я сегодня о ней вспомнила!

Рама осыпалась мертвой трухой. Пришлось полностью отделить ее, благо далась она легко, гвозди, державшие полотно, давно уже проржавели и крошились от надавливания пальцем. Убрав прогнившие обломки обратно за ларь, Настасья отнесла холст вниз и поставила так, чтобы на него падал бьющий из окон солнечный свет. Под ярким дневным освещением на полотне проступил силуэт человека. На нижней части картины виднелось мутное белесое пятно.

Заагукал Кирюша – Настасья заторопилась вниз, к рукомойнику, умылась, наспех переоделась, заглянула к ребенку – прасвекровь как раз меняла ему промокшие ползунки. При виде матери он радостно залопотал, потянулся к ней ручками. Она покормила его – молока было так много, что Кирюша еле справлялся, приходилось отнимать сосок, чтобы дать ребенку отдышаться. Настасья поймала себя на мысли, что при других обстоятельствах и в другом месте она бы сочла возвращение молока чудом. Но в Маране она отнеслась к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. «Наверное, так должно было быть, потому что так и было задумано», – повторила она про себя любимую присказку стариков и улыбнулась. Чем проще слова, тем значительней их смысл.

Вернулись Тигран с Алисой, мы сейчас пообедаем и снова уйдем, ворвавшись в комнату, сообщила довольная дочка, чмокнула в круглую щечку брата, потом поцеловала Настасью – мам, там одна бабушка (забыла, как ее зовут) учит меня на спицах вязать, я уже связала целых два ряда, представляешь?

Пока Алиса отвлекалась на мать, Валинка отправила Тиграна наверх – поглядеть на картину, а сама принялась накрывать к обеду стол – разлила по тарелкам окрошку на мацуне, выставила отварную курятину и молодую картошку, брынзу, малосольные, отдающие анисовым ароматом помидоры, зелень, свежие огурцы и редис. Тигран вернулся озадаченный – о существовании картины он, как и Настасья, услышал впервые.

– Как такое могло случиться, чтобы вы с дедом ни разу о ней не вспоминали? – спросил он.

– Сама в толк не возьму! – закручинилась Валинка.

– Я имею приблизительное представление, как почистить картину, – подала голос Настасья. – Попробую это сделать. Времени уйдет много, но к нашему отъезду справлюсь. Единственное, что мне нужно, – растительное масло. Найдется?

– Найдем.

После обеда Тигран с Алисой вернулись к старику Анесу, он – колоть дрова, она – учиться у его подслеповатой жены вязать шерстяной носок, Валинка взялась за тесто для луково-яичного пирога, а Настасья, выпросив у прасвекрови растительного масла и мягкую тряпочку, ушла чистить картину. Приступала она к работе с большим опасением, боялась, что ненадлежащие условия хранения и плотный слой грязи безвозвратно испортили холст, однако под налетом пыли, паутины и темных пятен, оставшихся после нашествия мух, обнаружилась изрядно потускневшая, но неплохо сохранившаяся масляная краска. За три часа кропотливой работы Настасье удалось отмыть небольшой фрагмент полотна – край сине-белого полосатого то ли герба, то ли щита и кусок стены в каменной кладке. Спустя еще неделю на полотне проступил молодой крестоносец – высокий лоб, глубокие глаза, прямой нос, короткая густая бородка. Одет он был в легкие пластичные доспехи, поверх доспехов был накинут тяжелый плащ, багряно-золотой, бархатный, горловину плаща стягивала цепь, каждое ее звено украшал оттиск, замысловатый узор которого, увы, невозможно было разглядеть.

Белесое пятно Настасья оставила под самый конец. Приступая к его очистке, думала, что, скорее всего, это плесень, безвозвратно погубившая часть холста. Но по мере обработки

столетняя заскорузлая грязь, уступая осторожным прикосновениям смоченной в растительном масле тряпочки, понемногу отступала, открывая изображение того, при виде чего заглянувшая в хозяйственную комнату с маленьким Киракосом на руках Валинка побледнела, схватилась за сердце и застыла, не в силах пошевелиться. Настасья испугалась, что она выронит ребенка, но прасвекровь успокоила ее – все в порядке, дочка, отдала младенца, а сама, неуверенно ступая мелкими шажками, подошла к картине, ахая и скорбно качая головой, а потом расплакалась – с таким явственным облегчением, словно получила ответ на вопрос, мучивший ее всю жизнь. А в ногах крестоносца, вытянув вверх изящную голову в пышной короне, стоял большой кипенно-белый царский павлин и смотрел на нее прозрачными, цвета гранатового зерна, прекрасными глазами.

Post Scriptum. Разумеется, Валинка никуда не уехала.

Часть III
Тому, кто слушал

Глава 1

Магтахинэ приходила ближе к ночи, сразу после того, как в окнах домов занимались редкие огни, а над деревней раскидывала свое звездное покрывало милосердная сентябрьская ночь.

Она стояла на веранде, сложив на груди руки, и смотрела во двор. Василий успел уже привыкнуть к визитам покойной жены. Заметив ее прозрачный на фоне темнеющего неба силуэт впервые, он, вопреки ирреальности ситуации, испытал не страх, а чувство растерянности и беспомощности. Анатолия к тому времени уже легла – из-за неважного самочувствия она почти все свободное от домашней работы время проводила или на тахте – за необременительным рукодельем, или же в постели. Василий преданно ухаживал за ней – и чаю заварит, и пледом вечно зябнущие ноги укутает, и не забудет вовремя поднести травяной настой, который нужно было принимать три раза в день, строго до еды. Если доводилось отлучаться в кузницу, он обязательно предупреждал об этом Ясаман и Ованеса, чтобы они не оставляли ее без присмотра. Анатолию забота Василия трогала до глубины души. Непривычная к ласковому и внимательному обращению, она, насколько позволяло здоровье, отвечала ему тем же – готовила любимые блюда, привела в порядок весь его скудный гардероб – перелицевала и перешила старое пальто, заштопала белье, связала несколько пар шерстяных носков, сшила из отреза хлопчатобумажной ткани, что берегла для себя, две рубашки. Вечерами она учила его грамоте – Васи-

лий, высунув от усердия кончик языка, выводил закорючки букв, с трудом удерживая в неповоротливых, искореженных тяжелым кузнецким трудом пальцах карандаш, а потом, хмурясь и сбиваясь, читал, старательно выговаривая по слогам слова. Давая ему отдохнуть от занятий, Анатолия читала ему вслух книги, которые забрала из библиотеки в первую зиму холода и тем самым уберегла от гибели. Содержание этих книг Анатолия помнила наизусть, но, отмечая неподдельный интерес Василия к художественному тексту, читала ему с таким удовольствием, словно впервые брала их в руки. Засыпали они трогательно обнявшись. Она, улыбаясь, думала о том, каким многоликим может быть человеческое счастье, многоликим и милосердным – в каждом своем проявлении. Смущалась и краснела, вспоминая первую неловкую ночь любви, случилась она спустя неделю после того, как Василий перебрался к ней. Можно тебя обнять, спросил он, нерешительно потянувшись к ней, Анатолию так удивил его вопрос – бывший муж брал ее никогда не спрашивая разрешения, почти всегда – вопреки ее воле, распаляясь от приговоренного молчания и безвольных ее слез, потому эта обезоруживающая, высказанная стыдливым шепотом просьба о ласке стала для нее таким откровением, что она сама потянулась к нему и обняла, стесняясь своего порыва. Василий, несмотря на неотесанный вид и грубоватый мужицкий нрав, оказался удивительно предупредительным в постели, принимал ее нежность с благодарностью и относился к ней так бережно и ласково, что Анатолия впервые ощутила интимную сторону жизни не как унизительную муку, а как счастье. В силу преклонного возраста их чувства были лишены пылкости и затуманивающей сознание страсти, а тела – возможности любить так часто, как это дано молодым, но они принимали это с пониманием и были безмерно признательны небесам за благословенную возможность делить осень своей жизни с тем, кто тебе воистину дорог. «Если бы мне сказали, что нужно еще раз пережить все, что я прошла с бывшим мужем, чтобы быть потом с тобой, я бы на это согласилась», – как-то призналась Анатолия Василию. Он был тронут ее словами до глубины души, но так растерялся, что не нашелся что ответить. Пропадал потом на кузне целый день, а вечером принес неумело выкованную розу – первый цветок, смастеренный им за многолетнюю работу кузнецом. «Я не умею, как ты, сказать словами», – признался он и осекся, не зная, как правильно закончить мысль, «потому решил выковать свои чувства в металле?» – пришла ему на помощь она, «да», – ответил он.

В день, когда Василию впервые явилась покойная жена, Анатолия легла пораньше, измученная грозой. Погода с утра стояла душная и вязкая, не давала дышать – лето было на исходе, уходящий август капризничал и истерил, накалял добела полдень, а ближе к ночи разражался чудовищной силы грозой, разрывал воздух копьями небесных аждааков, лил горячими потоками дождя, но долгожданного облегчения не приносил. Василий заглянул в спальню, убедился, что Анатолия уже уснула, – в придачу к накатывающим приступам слабости она в последнее время мучилась еще и ногами – жаловалась на боли в суставах и отеки, потому спала, подложив под колени сложенный вчетверо плед. Сетовала, что поправилась, всю жизнь была худющей, словно щепка, а теперь бока себе отъела и живот, скоро буду круглая, как головка сыра, шутила она, ничего, я тебя и толстой буду любить, вымученно улыбался Василий – состояние здоровья Анатолии неуклонно ухудшалось, было ясно, что без поездки к врачам из долины не обойтись, но она сопротивлялась и ударялась в слезы каждый раз, когда кто-то заговаривал об этом. Василий оставил дверь в спальню приоткрытой, чтобы услышать, если она позовет, а сам пошел на кухню – заварить чаю с мятой. Входная дверь почему-то была распахнута настежь, он подошел, чтобы притворить ее, и сразу же увидел Магтахинэ. Она стояла, прислонившись животом к перилам веранды, простоволосая и почему-то короткостриженая, и, сложив на груди руки, смотрела во двор, в тот его угол, где находилась конура Патро. Несмотря на то что она сильно исхудала и была ниже своего роста на целую пядь, Василий сразу ее узнал по привычному силуэту – однажды, еще по молодости, она неловко повернулась, запуталась ногой в бахроме половика, упала с высоты своего немалого роста и повредила плечо. С того

дня оно часто ныло, особенно к перемене погоды, и Магтахинэ инстинктивно задирала его, а руки держала сложенными на груди, из страха нечаянно задеть что-нибудь локтем и сделать себе больней. Василий хотел было подойти, но она повернула к нему неожиданно молодое, без единой морщинки, лицо и сердито замотала головой. Дверь от дуновения ветра захлопнулась, а когда Василий отворил ее снова, веранда была пуста.

С того дня Магтахинэ являлась почти каждый день, обязательно ночами, дождавшись того часа, когда Анатолия уснет, Василий безошибочно угадывал ее приход, выглядывал на веранду, она стояла там, прижав к груди руки, и смотрела во двор. Он больше не делал попыток подойти, но знал, что она приходит не просто так, а чтобы что-то ему рассказать, вот только пока медлит, непонятно почему. Визиты покойной жены его не пугали, несмотря на испортившийся к преклонному возрасту характер, Магтахинэ была женщиной доброй и беззлобной, самоотверженно ухаживала за своими родителями, которых хоть и упрекала в недостаточной любви, но скорее по привычке, чем из-за обиды. Они с Василием поженились через год после того, как отступил голод, и она приняла и полюбила девятилетнего Акопа как родного. И даже после, когда у них родилось трое сыновей, она различий между мальчиками не делала, относилась к нему с особенной нежностью и не отходила от него ни на шаг, когда у Акопа случались необъяснимые приступы лихорадки. Василий хмурился и тяжело вздыхал, вспоминая страдания младшего брата. Первый приступ случился спустя несколько месяцев после смерти матери: Василий, не дозвавшись брата к ужину, пошел искать его по дому и нашел на полу в гостиной, у Акопа была такая высокая температура, что, прикоснувшись к его лбу, он испуганно отдернул руку. Василий быстро раздел его догола, обтер тутовкой, уложил в постель и побежал за Ясаман. К ее приходу Акоп снова лежал на полу, распластавшись горячим телом на прохладных досках, и заходился в бреду. Пока Ясаман пыталась напоить его травами, он вырывался и стонал, а потом, уложенный в постель и накрытый двумя одеялами, чтобы пропотеть, жалобно плакал и просил убрать из-под подушки меч, который оставил там злой дэв Аслан-Баласар. Приходилось поднимать подушку, показывать, что ничего там нет, но Акоп не унимался, перекатывался в другой конец кровати, протягивал руку к окну – посмотрите, он ждет, чтобы, улучив момент, прийти и убить нас своим мечом. Василий перенес его в другую комнату, подальше от злополучного окна, но и это не помогло – Акоп безутешно рыдал и умолял убрать меч, иначе никому не будет спасения. Лихорадка продержалась всю ночь и отступила лишь к рассвету, а к полудню мальчик проснулся на удивление здоровым, только слабеньким, ничего не помнил, кроме того, что потерял сознание от сковывающего душу ужаса – почувствовал за спиной присутствие кого-то страшного и упал. С того случая приступы повторялись ежемесячно, иногда даже чаще, отходил от них Акоп по нескольку дней, боялся темноты, старался не оставаться в одиночестве. Василий делал все возможное, чтобы ему помочь, – несколько раз отвозил на лечение в долину, водил по толкователям снов и знахарям, приглашал священника. Увы, все старания пропали втуне: врачи отклонений в здоровье мальчика не находили, заговоры знахарей не действовали, толкователи снов, как ни заглядывали в свои стеклянные шары, ничего разглядеть не могли, а вызванный на дом молодой тер Азария, подоспевший как раз к очередному приступу Акопа, промолившись над ним несколько тяжелых ночных часов, не выдержал душевного напряжения и беспомощно расплакался, прижавшись лбом к его горячей ладони.

Единственной, кому удалось разгадать причину выматывающих приступов Акопа, оказалась Магтахинэ. В отличие от Василия, который старался не заговаривать с братом о болезни, чтобы не заставлять его заново все переживать, она мягко, но настойчиво выводила его на разговор, собирала по крупицам и складывала обрывки воспоминаний в пока бессмысленные, но картинки. Со временем она научилась предугадывать припадки, правда, как это у нее выходит, объяснить мужу не могла, потому что вычисляла их приближение исключительно интуитивно, опираясь на свои ощущения и догадки. В такие дни Акоп находился дома, под ее наблюдением, а оставшийся без помощи брата Василий вынужден был проводить в кузнице чуть ли не

круглые сутки, чтобы справиться с работой. Но, как ни старалась Магтахинэ держать Акопа в поле своего зрения, ей не удавалось застать начало приступа, что ее безмерно удручало и злило, потому что откуда-то она знала, что разгадка болезни мальчика кроется именно в тех нескольких секундах, которые предвосхищают его обморок. Василий относился к уверенности жены как к причуде, иногда даже подтрунивал над ней, но в глубине души лелеял надежду, что Магтахинэ все-таки сумеет разузнать причину странной болезни брата.

И однажды, спустя два долгих года, когда все уже успели отчаяться и разочароваться, Магтахинэ это все-таки удалось. В тот день, оставшись по ее настоянию дома, Акоп складывал в поленницу колотые дрова. На веранде, завернутый в теплое одеяло, спал в люльке годовалый племянник Карапет, первенец Василия и Магтахинэ, удостоверившись, что ребенок уснул, она спустилась во двор, чтобы быть поближе к Акопу, но не успела сойти с последней ступеньки, как Акоп, не оборачиваясь к веранде, пробормотал быстрым полушепотом: сейчас ребенок упадет. Магтахинэ испуганно повернулась и ахнула – каким-то чудом выпутавшись из одеяла, малыш высунулся из люльки и свесился вниз, опасно перегнувшись через невысокий дощатый бортик. Она в три прыжка преодолела лестницу, схватила сына на руки, прижала к себе, сердце билось так громко, словно находилось не в грудной клетке, а снаружи. Кое-как уняв сердцебиение, она с тревогой добралась до края веранды и увидела то, что и ожидала увидеть, – посреди двора, на груде колотых дров, лежал сраженный припадком мертвенно-бледный Акоп и стонал от сжигающего внутренности чудовищного жара.

– Может, потому ты и болеешь, что умеешь видеть наперед? – осторожно предположила на следующий день Магтахинэ.

Акоп, который ничего, кроме леденящего душу страха, не помнил, бессильно прикрыл глаза.

– Какой в этом смысл, если я сразу все забываю? – прошептал он.

– Не знаю.

Спустя время свидетелем его приступа стала заглянувшая за кукурузной мукой Бехлванц Мариам. Магтахинэ купала ребенка, а Акоп стоял рядом и держал наготове полотенце. Вдруг он отступил на шаг, нашарил рукой стену, прислонился, закатил глаза и медленно сполз на пол и за секунду до того, как потерять сознание, выговорил сквозь сжатые зубы: уста Само. Магтахинэ сунула мокрого сына Мариам, а сама кинулась к Акопу.

– Ничего не спрашивай, – бросила она через плечо, – помоги одеться ребенку, а потом сбегай к Сербуи, предупреди, что с ее отцом приключилась беда.

Уста Само, пастуха, нашли на краю дубовой рощи. Старик лежал, окруженный преданным и молчаливым стадом, и рыдал от боли, словно ребенок, – оступился, неудачно упал и сломал лодыжку.

Весть о том, что младший брат кузнеца Василия предвидит беду, быстро распространилась по деревне. Люди стали приходить, чтобы разузнать о своем будущем, но Акоп беспомощно разводил руками – видеть-то, может, и видит, но ничего не помнит. К его сбивчивым объяснениям маранцы относились с недоверием, обижались, упрекали в бесчувствии и нежелании помочь. Дальше всех пошла старая Парандзем, у которой от неведомой болезни полегла вся дворовая птица. С какой-то радости решив, что причиной тому приступы Акопа, она распустила слух, будто он не предчувствует, а наоборот, накликает несчастье. За вредный нрав и отвратительное злоязычие никто в деревне ее не любил, но некоторые из маранцев все-таки поверили сплетням Парандзем и стали относиться к Акопу как к прокаженному. Они прятали от него детей, не появлялись в кузнице, если он там находился, а встретившись с ним на улице, боязливо крестясь и пряча глаза, переходили на другую сторону.

Если Акоп воспринимал это с несвойственным его юному возрасту хладнокровием и даже радостью – пусть думают, что хотят, лишь бы не досаждали назойливым вниманием, то Василия такое отношение к брату обижало и ранило в сердце. Несколько раз он пытался объ-

ясниться с односельчанами, ссорился и доказывал, распаляясь, даже лез в драку, но добился обратного эффекта – теперь маранцы обходили стороной и его. Впрочем, работы от этого в кузнице не убавлялось – страх страхом, а добротной мотыгой, которая прослужит долго и не сломается от постоянного дробления глыб (а каменного добра на макушке Маниш-кара было не меньше, чем земли), не у каждого мастера можно было разжиться. Потому маранцы продолжали ходить в кузницу, а Василий, несмотря на обиду, молча принимал заказы и делал свою работу так, как только умел – старательно, усердно и зачастую в долг, никогда не отказывая в рассроченной оплате тем, кто не в состоянии заплатить за его труд сейчас.

Напряжение, возникшее между односельчанами и семьей Василия, наверное, продержалось бы долгие годы и превратило бы кузнеца и его брата в конце концов в изгоев, если бы не событие, случившееся той же весной и буквально перевернувшее с ног на голову отношение Марана к Акопу. К тому времени участившиеся припадки стали такими выматывающими, что казалось – любой из них может стать последним. Ясаман, которая всегда была рядом, боролась за здоровье юноши, как могла. Она составила специальный сбор трав, вытяжка из которых должна была помочь ему легче переносить тяжеленные приступы. Акоп старательно выполнял все ее предписания: принимал горькие настойки, спал в любую погоду с распахнутым окном, обливался холодной водой, дышал, как она учила – пятнадцать глубоких вдохов-выдохов по утрам, сразу после пробуждения, и перед сном. Лечение, безусловно, помогало, потому что за все эти годы у него не случилось ни одного не то что серьезного заболевания, но даже банальной простуды, а настигшая деревню эпидемия ветрянки, от которой не удалось увернуться никому, даже старикам, обошла его стороной, словно не заметила. Но с припадками назначенное Ясаман лечение справиться было не в силах. Мучительные и тяжелые, они со временем стали до того непосильными, что застигнутый ими врасплох Акоп терял сознание мгновенно, не успевая не то что предупредить о привидевшейся беде, но даже осознать, что с ним произошло.

Отчаявшись хоть как-то облегчить состояние брата, Василий предпринял еще одну поездку в долину. Но и этот визит к врачам ничего не дал, более того, не обнаружив у юноши отклонений, они не придумали ничего лучше, чем предложить оставить его в клинике для душевнобольных. Взбешенный Василий увез Акопа с твердым намерением никогда больше не возвращаться в долину.

– Если ему суждено умереть от припадка, пусть лучше это случится на моих руках, чем там, среди сумасшедших, – заявил он.

Акоп переживал за Василия больше, чем за себя, потому никогда не жаловался и не стенал. Старался не унывать – оправившись от очередного приступа, помогал в кузнице – работал споро и увлеченно, не требуя к себе снисходительного отношения, очень обижался, если Василий предлагал ему передохнуть или оставлял самую трудную часть работы себе. Он был бесконечно благодарен Магтахинэ за заботу, любил ее, как сестру, был предупредителен и ласков к ее родителям – старики, остро переживавшие за шаткое здоровье своей младшей дочери Шушаник, сильно сдали, у Петроса отнялась левая нога, а доведенная бессонницей до истощения его жена слегла от нервной хвори, называемой в народе болезнью жимажанка – болезнью сумерек[27]. Акоп с готовностью помогал по дому – убирал, стирал, стряпал, возился с обожаемыми племянниками-погодками, старшему из которых исполнилось к тому времени семь, среднему – пять, а младшему – три года. Мальчики уже всё знали о болезни своего дяди и трогательно ходили по дому на цыпочках, давая ему отоспаться в тишине после тяжелейшего приступа. У Василия сердце обливалось кровью, когда он наблюдал за сыновьями, за братом, за несчастной своей Магтахинэ, разрывающейся между нуждающимися в уходе родителями и семьей, с наступлением каждого января он вздыхал с облегчением, в надежде на то, что новый

[27] Тяжелая форма депрессии.

год будет милосердней и счастливей старого, а к декабрю с горечью констатировал – жизнь и не думала становиться легче, принося с собой все новые и новые испытания.

Случай, изменивший отношение маранцев к Акопу, они так потом и называли – день, когда младший внук Кудаманц Арусяк уберег нас от гибели. На отвесном склоне Маниш-кара, с противоположной стороны от той, что рухнула при землетрясении в пропасть, зияла широкая и глубокая проплешина – там год от года, сразу после таяния снегов, сходил, подминая под себя упорно прорастающий кустарник дикой сливы, поток селя. Люди давно уже привыкли к грохоту низвергающейся в самое сердце пропасти стремительной лавины, спускалась она всегда по одному и тому же проторенному пути, оставляя за собой влажнобурый, пахнущий холодом и сырой землей развороченный шрам. От селя деревню защищал огромный вулканический зубец, торчащий клыком чуть выше самых крайних домов, – раз за разом спотыкаясь о его несокрушимый асбестовый бок, грязевая лавина сворачивала направо и уходила восвояси, не причинив Марину вреда. Люди, свято верящие в незыблемость каменного зубца, устоявшего даже в знаменитое землетрясение, относились к селю с беспечным безразличием – смысл бояться того, что никогда до тебя не доберется?

Что зубцу не устоять, привиделось однажды Акопу. Это был единственный раз, когда, очнувшись после припадка, он вспомнил в подробностях картинку, представшую перед глазами: сель, устремляясь вперед смертоносным ледяным потоком, дробил на мелкие осколки спасительную глыбу и, с чудовищным чавканьем поглощая дом за домом деревню, смывал ее в пропасть, не оставляя в живых никого.

Поскольку никогда прежде запомнить предсказание не удавалось, Акоп важности ему не придал, решив, что это обычный обман памяти. Но на следующий день, томимый неясным беспокойством, сходил к восточному склону, просто для того, чтобы удостовериться, что все с ним в порядке. Чтобы обойти его по периметру, понадобился целый час, огромная асбестовая глыба возвышалась на краю деревни, литая и цельная, без единой трещины, и казалась абсолютно несокрушимой. Успокоенный увиденным, Акоп расстелил в ее солнечном подножии архалук, с облегчением растянулся, чтобы дать себе передохнуть, и устремил взгляд в небеса. Земля была холодной, но уже покрылась нежными побегами трав, подснежники успели отцвести, уступив место блекло-голубым высокогорным фиалкам, распустившим свои робкие листья, но пока временившим с цветением. Было почти безветренно и благостно, совсем низко над головой, цепляя макушку Маниш-кара белоснежным невестиным подолом, медленно проплыло облако, разливая вокруг молочную тишину… Акоп сложил под головой ладони, улыбнулся, вдохнул полной грудью отдающий талым снегом невесомый воздух, прикрыл глаза – и внезапно увидел на внутренней стороне век два зияющих провала-воронки. Они вращались с чудовищной скоростью, перемалывая своими ледяными лопастями в мертвую пыль камнебокую часовню Марана, если прищуриться, можно было разглядеть ее купольный крест – он мерцал в слепом провале угодившей в капкан птицей, которая рвалась вверх, раскинув в бессмысленном полете тонкие крылья.

Акоп вынырнул из ледяного морока в твердой уверенности, что в этот раз вулканическому зубцу не выстоять, и что единственной возможностью спасти деревню будет каменное ограждение, воздвигнутое между ним и восточными домами. В том, чтобы убеждать брата в грозящей Марану опасности, не было никакой необходимости – Василий верил Акопу безоговорочно. Но как убедить в этом остальных мужиков, особенно тех, кто категорически настроен против него, когда времени оставалось ничтожно мало, а в строительстве спасительного ограждения дорога была каждая пара рук?

Недолго думая, Акоп направился к дому Меликанц Вано, к которому маранцы относились с особым пиететом, да и как можно было еще относиться к человеку, сделавшему все от него зависящее, чтобы приумножить Ноево стадо и спасти тем самым деревню от гибели? Вано выслушал его, не перебивая, вопросов задавать не стал, ничего не обещал. Выпроводив Акопа,

сходил в кузницу, поговорил с Василием. Тем же вечером собрал у себя во дворе все мужское население Марана. Какими словами он их убеждал – Кудаманц-братья не знали, ибо идти на это собрание отказались наотрез, Василий – потому, что до сих пор не простил односельчанам предвзято-суеверного отношения к брату, а Акоп – потому, что не видел в этом никакой необходимости.

Защитную стену вдоль восточного края деревни маранцы воздвигали почти месяц. К началу Цветоносной недели[28] она уже опоясывала каменный зубец с той его стороны, где ютились три крайних двора. По настоянию Акопа ее дополнительно укрепили прочными балками и обложили мешками с землей. Сель сошел накануне Вербного воскресенья, в самое безмолвное и страшное время ночи – энбашти. Из-за поглотившего деревню снежного вихря люди разглядеть впотьмах ничего не смогли, а с раннего утра обнаружили лишь нижнюю часть защитной стены – верхняя ее половина, взяв на себя чудовищной силы удар, раздробилась и рухнула в пропасть, увлекши за собой деревянные балки и мешки с землей, а на месте каменного клыка, на протяжении многих столетий защищавшего деревню, остался грубый ров – словно кто-то прошелся по склону Маниш-кара огромным плугом, вспарывая его живое плечо широким лезвием лемеха.

Акоп подошел к полуобвалившейся стене, приложил к ней ладонь, прислушался. Обернулся к односельчанам:

– У нас впереди целый год, чтобы ее восстановить. Я слышу грохот других селей, они не будут такими сильными и не причинят деревне вреда. Но стену все равно нужно укрепить. На всякий случай.

Маранцы молча расступились, пропуская своего спасителя, кто-то протянул руку – извини. Акоп замотал головой.

– Не за что извиняться.

Он шел сквозь толпу, стремительно бледнея, худой и изможденный, с беспокойными, цвета остывшего пепла, глазами. Василий, не сводивший с него взгляда, сразу почувствовал неладное, заторопился, расталкивая людей локтями, и успел подхватить брата за секунду до того, как тот свалился в обморок. Тело Акопа горело чудовищным жаром, ноги сводило в конвульсиях, голова беспомощно запрокинулась назад, из горла вырвался протяжный, хриплый стон. Люди, впервые ставшие свидетелями его припадка, растерялись и испуганно замерли, но через мгновение подняли его на руки и помогли отнести домой. Магтахинэ отвела сыновей к родителям, чтобы они не пугались стонов дяди, а, вернувшись, застала изможденного от переживаний мужа у постели Акопа – чем я могу тебе помочь, чем? – повторял Василий, хватая за руки мечущегося в горячечном бреду брата. Она обняла мужа, прижала его голову к своей груди, Василий сделал слабую попытку вырваться, но потом обмяк и беспомощно разрыдался – не могу я так, не вынесу я больше этого.

Вопреки обыкновению, к следующему утру приступ не закончился, Акоп то терял сознание, то приходил в себя, метался по постели, голова раскалывалась от невыносимой боли, а глаза жгло так, словно в зрачки воткнули два огненных прута. К десяти часам, когда апрельское солнце затопило своим целительным светом деревню от края до края, а в часовне началась праздничная служба, Василий вынес брата из дому. Рядом шла Магтахинэ и подсказывала, куда идти. Спустя годы, когда она, вконец надломленная невзгодами, превратила своим недовольством и бесконечными жалобами-причитаниями жизнь мужа в беспросветную пытку, Василий ни разу не позволил себе ни одного слова наперекор. Он терпел до последнего, а когда становилось совсем невмоготу, отводил жену за руку в дальнюю комнату и запирал ее на засов, а потом, украдкой проверив, стоит ли под окном деревянная лестница, уходил в кузницу – коротать там долгий бессмысленный день. Магтахинэ жаловалась на свою горькую судьбу,

[28] Неделя перед Вербным воскресеньем.

на неблагодарность родителей, на невыносимую боль, которая поселилась в ее душе со дня гибели сыновей, но ни разу она не упомянула имени Акопа, ни разу не упрекнула мужа в долгих двенадцати годах ночных бдений, когда приходилось дежурить у постели больного не для того, чтобы помочь – какая может быть помощь при неизлечимом недуге, а просто чтобы быть рядом. В то утро Василий вышел на веранду, чтобы попросить жену перестелить промокшую от пота постель Акопа, она стояла, прислонившись к деревянным перилам, и, прижав к груди руки, глядела в тот угол двора, где спустя тридцать лет Василий поставит конуру собаки, Магтахинэ обернулась на звуки его шагов и сказала: я знаю, почему он так страдает, потому что каждый раз воюет со смертью, вырывая из ее когтей чью-то жизнь, но она этого никому не прощает, вот и мучает его припадками. Василий не нашелся что ответить, смотрел, словно громом пораженный, только ртом воздух хватал, а Магтахинэ помолчала и добавила: ты не волнуйся, я, кажется, поняла, что нужно делать, заверни его в одеяло и вынеси из дому, мы пойдем на мейдан. Василий сделал так, как она просила, вынес из дома брата, как в ту морозную ночь голода, когда он отнес его, пятилетнего, к краю пропасти и узнал о том, что вся долина светится синими огнями, Магтахинэ молча шла рядом, прижав к груди руки, Маран словно вымер – люди ушли на праздничную службу, и только домашние звери и летающие в небе птицы были свидетелями тому, как они несли к мейдану измученного, умирающего юношу. Чисто вымытая по случаю Вербного воскресенья площадь сияла на солнце, словно тщательно натертые стеклышки, в которые дети ловят солнечных зайчиков, Магтахинэ вывела Василия на середину мейдана, попросила убрать одеяло и уложить на землю Акопа – тот мгновенно очнулся от прохлады и открыл глаза, Магтахинэ опустилась рядом на колени, погладила его по щекам, по лбу: Акоп-джан, скажи, что ты этого больше не хочешь, я этого больше не хочу, шепнул Акоп, едва шелестя своими бескровными губами, не мне говори, а ей, рассердилась Магтахинэ, ты знаешь, кто тебя мучает, скажи ей, что ты этого больше не хочешь, крикни один раз, но так, чтобы она услышала, Акоп едва заметно кивнул, прикрыл глаза, глубоко вдохнул и исторгнул из себя нестерпимо страшный, ранящий гортань вопль. Вопль этот, обернувшись тысячами ледяных осколков, вонзился в его душу, вывернул ее наизнанку, обездвижил и обезволил, поворотил беззащитным нутром к нестерпимо холодному дыханию закрутившихся под веками вертунов и, взорвавшись слепящей вспышкой, заполонил собой все и вся, не оставляя даже самой ничтожной надежды на спасение. Душа Акопа повисла над холодной бездной жалким ветошным клочком, а потом полетела вниз, в ее вечную мерзлоту, в бескрайний ее мертвяной морок. Но в самый крайний миг, когда обрушились все небесные своды и рухнули последние опоры, когда от бездушного дыхания вертунов заиндевело время, она извернулась и вырвалась на этот ничтожно краткий миг, чтобы выдохнуть, обжегшись: Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ТАК. Ее оглушило, опрокинуло, поволокло в бездну, ударило о чертополоховы берега, засосало в смрадную тьму, пронзило такой чудовищной болью, что она растеклась ртутными каплями по пространству, выжигая в его сумрачном теле светящиеся огненные лабиринты. И внезапно, на самом краю, когда не осталось ничего, кроме безысходной обреченности, когда страдание стерло черту между жизнью и смертью и погасило последний свет, – наступило абсолютное безмолвие.

«Вставай!» – велел кто-то не терпящим возражения голосом.

И Акоп открыл глаза.

С того дня, когда стала приходить Магтахинэ, состояние Анатолии неуклонно ухудшалось – теперь, в придачу к общей слабости, ее донимала чудовищная тошнота, любая съеденная крошка, не задерживаясь в желудке, просилась обратно. Если в августе она жаловалась на прибавку в весе, то к октябрю исхудала так, что все ребра можно было пальцами пересчитать, а однажды ночью Василий проснулся от того, что она, не сумевши добраться до нужника – от слабости подкашивались ноги, сидела на полу и безудержно рыдала, причитая и жалуясь

на свою горькую судьбу. Он помог ей справиться со своими делами, уложил в постель, взбил подушку, чтобы ей высоко было лежать, – так меньше мутило. Поставил чайник, а пока вода закипала, сидел рядом и гладил ее по рукам. Анатолия плакала – от стыда за свою немощь, от того, что легла на его плечи тяжелым бременем. Она несколько раз пыталась извиниться перед ним, но Василий ее обрывал – не обижай меня такими словами, я этого не заслужил. Заварив крепкого сладкого чаю, он напоил ее с блюдца, бережно дул перед каждым глотком, чтобы остудить кипяток, Анатолия выпила треть чашки – больше не смогла, откинулась на подушку, прикрыла глаза. Василий лег рядом, осторожно приобнял ее, поцеловал в висок.

– Я перед тобой очень виновата, – прошептала Анатолия.

– Не начинай опять, – перебил ее Василий.

– Дай мне досказать, – взмолилась она.

Василий молча выслушал ее покаянный рассказ о внезапном кровотечении, о том, как она утаила это от Ясаман, как малодушно, чтобы выпроводить его из дому, согласилась на предложение съехаться, как потом не нашла правильных слов, чтобы переубедить его.

– Я знала, что ничем хорошим эта затея не кончится, но не смогла сказать тебе правду.

– Ты жалеешь о том, что мы вместе? – спросил Василий.

– Ну что ты! – Анатолия виновато зарылась лицом в ладони. – Я жалею о том, что усложнила тебе жизнь.

– Ты не мне жизнь усложнила, а себе. Если бы вовремя сказала про кровотечение, Ясаман бы знала, как тебя лечить.

– Она бы не стала лечить. Она бы попросила Сатеник вызвать карету скорой помощи. А я не хотела в долину. Я хотела умереть.

– Почему?

– Потому что устала жить.

– И сейчас этого хочешь? – спросил с горькой усмешкой Василий.

Анатолия расплакалась.

– Сейчас я хочу жить как можно дольше.

Василий подождал, когда она уснет, осторожно поднялся, накинул на плечи архалук, вышел на веранду. Магтахинэ ждала его у перил. В этот раз она стояла к нему не спиной, а лицом и была ровно такой, какой он увидел ее в день венчания – юной и красивой, в жемчужно-серебристой минтане и кружевной накидке, обрамляющей нежный овал лица. Она улыбнулась, но подойти ему не разрешила – подняла предостерегающе руку.

– Зачем ты приходишь? – спросил Василий.

Она не ответила.

– С того дня, как ты стала появляться, ей становится все хуже и хуже. Ты за ней приходишь?

Магтахинэ совсем по-детски обиженно замотала головой.

– Прошу тебя, помоги ей. Раз ты Акопа спасла, то и ее спасешь.

При упоминании имени Акопа Магтахинэ замерцала-запереливалась золотыми искринками. Через секунду она исчезла, бесследно растворившись в воздухе. Василий подошел к тому месту, где она стояла, потрогал перила. Они были теплые, словно к ним прислонялся живой человек. Он постоял немного, вдыхая полной грудью острый осенний воздух. На востоке занимался рассвет, разгоняя ночную мглу, падала первая, скудная роса. К утру будет вторая, обильная, пахнущая травами и влажной землей. На краю деревни возвышалась защитная стена – с того дня, как Акоп отрекся от своего дара и навсегда избавился от припадков, с макушки Маниш-кара сошло двадцать два селя, но все они прошли мимо, не причинив деревне вреда.

Ранним утром Сатеник отправила в долину телеграмму. А спустя два часа, после первичного, но тщательного обследования, карета скорой помощи, трезвоня на всю округу сиреной, увезла Анатолию в больницу, оставив в ступоре оглушенную неожиданной новостью деревню.

На пятьдесят восьмом году жизни, пережив последних своих родственников почти на полвека, прошедшая через голод, холод, предательство и войну, но сумевшая вопреки тяжелым испытаниям сохранить доброе сердце и чуткий нрав, младшая дочь Севоянц Капитона и Агулисанц Воске оказалась на пятом месяце беременности.

Глава 2

После отъезда кареты скорой помощи маранские старики с замиранием сердца ждали вестей из долины, которые приносил или ездивший за продуктами Мукуч, или же почтальон Мамикон, с упрямством барана раз в две недели штурмовавший долгий, пологий путь до деревни, чтобы доставить в почтовое отделение пустопорожнюю прессу и рекламные листовки.

Новостей, увы, было мало, потому что вход в специально оборудованную палату, где под наблюдением врачей лежала Анатолия, был закрыт не только для сторонних посетителей, но и для Василия. Единственное, что ему разрешалось, это передавать с медсестрой свои нацарапанные печатными буквами корявые записки, на которые Анатолия отвечала длинными посланиями, полными заверений, что обходятся с ней отлично, кормят вкусно, не дают подниматься из опасения, что она может потерять ребенка, – как-никак возраст, все будет хорошо, любимый, писала Анатолия, Василий, разбирая по слогам ее письма, каждый раз спотыкался о ласковое обращение и повторял про себя – любимый, любимый. Жил он в захолустной гостинице, от которой добираться до больницы три часа в один конец, чтобы платить за дешевый неотапливаемый номер, устроился дворником, взяли его с неохотой, пеняя на возраст, но все-таки пошли навстречу, и теперь Василий совсем не высыпался, потому что с раннего утра размахивал метлой, убирая с окраинных городских улочек осеннюю листву, а потом допоздна, пока в больнице не погасят верхний свет, сидел под окнами палаты, в которой лежала Анатолия, охраняя ее покой.

Можно было, конечно, оставаться в Маране и ездить в долину с Немецанц Мукучем, но он остерегался покидать город из суеверного страха, что, не будь его рядом, с Анатолией может случиться непоправимое. О ребенке, как ни странно, он совсем не думал и даже не очень верил в его существование, поспешность, с которой Анатолию упрятали в больницу, и строгая секретность, коей ее окружили, подвигли его к мысли, что у нее, скорее всего, такая же неведомая науке болезнь, как у Акопа, только если в случае с Акопом ему удалось провести врачей, то теперь они добились своего и отняли у него единственного человека, который ему дорог больше жизни. О своих опасениях Василий никому не говорил и даже Анатолии не писал – мало ли, вдруг медсестра прочитает его записку, покажет начальству, и ему навсегда запретят показываться на территории больницы. Одну попытку вызволить ее из плена он уже

предпринимал, пришел к главному врачу, потребовал немедленно ее выписать, тот, опешив от напора, сначала показывал ему какие-то снимки и бумаги с непонятными закорючками, потом принялся совестить, однако Василий не стал его слушать, потребовал пустить его в палату, а когда получил отказ, обозвал шелудивым щенком, за что, скрученный охраной, был выставлен за порог больницы, и теперь единственное, что ему позволялось, это передавать записки и сидеть под окнами палаты Анатолии.

Мукуч каждую неделю доставлял ему продукты, которые собирали деревенские старики, – хлеб, сыр, орехи, сухофрукты, немного солений и топленого масла, нехитрую выпечку – сали или гату. Василий был бесконечно благодарен за участие, выкроил из сэкономленных денег крохотную сумму, приобрел в магазине рукоделья восемь наборов для вышивки – ткань и разноцветные шелковые нитки – и передал их в деревню, мужики обойдутся, а вот женщин хочется отблагодарить, объяснил он Мукучу. Тот отнекивался, но гостинцы забрал, а спустя две недели привез восемь одинаковых вышитых подушечек – старухи просили передать их Анатолии, чтобы ей мягко было лежать. Подушечки в больнице не взяли, дескать, Анатолия лежит в стерильной палате, и лишняя зараза им не нужна. Оскорбленный Василий оставил их в гостиничном номере, чтобы увезти потом обратно в Маран.

К концу ноября из-за северного перевала пришла большая посылка с припасами и денежным переводом. Мамикон, утирая пот со лба, приволок ее в гостиницу, Василий сначала решил, что это посылка для Ейбоганц Валинки, которую нужно с Мукучем передать в Маран, но Мамикон обиделся – почтальон я, и доставлять посылки тоже мне, отправление для Валинки я на той неделе отнес, чуть спину себе не сорвал, а это тебе, от Тиграна и его жены, как ее там, забыл имя, ах да, Настасьи.

В посылке обнаружились рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко и несколько упаковок песочного печенья, а также бережно завернутое в нарядную бумажную упаковку белоснежное одеяльце – нежное и мягкое, из какой-то невесомой пряжи.

– А это кому? – опешил Василий.

– Ребенку, наверное, – восхищенно зацокал языком Мамикон.

Василий возражать не стал, только пожал плечом. Убрал одеяльце под вышитые подушки, разложил на подоконнике консервы. Попытался отдать несколько штук Мамикону, но тот замахал руками, попятился к входу – ты что, с ума сошел, тебе жить не на что, а ты едой разбрасываешься.

Присланных Тиграном денег оказалось ровно столько, чтобы оплатить гостиничный номер на два месяца вперед, растроганный Василий сходил на почтамт, отправил телеграмму с благодарственными словами и заверением, что вернет деньги, как только заработает. Ответ не заставил себя долго ждать, на второй день горничная доставила ему вчетверо сложенный листок бумаги, Василий попытался прочитать сам, но не смог – больно крохотные были буквы, потому сходил за помощью к привратнику. Тот повертел в руках телеграмму, нацепил очки, прочистил горло и прочел, делая многозначительные паузы в конце каждого предложения: «Дядя Васо, ничего не надо возвращать. Одна просьба – дождитесь моего приезда. Крестным ребенка должен быть я».

– Какого ребенка? – оторвался от телеграммы привратник.

Василий почесал в затылке, покряхтел и неожиданно для себя рассказал чужому человеку о беде, которая случилась с Анатолией, о том, что все радуются ее беременности, а он в нее не верит, потому что не привык доверять врачам. Если получит на руки ребенка – одно дело, значит, не врали, а если нет – придется воевать с больницей, вот только как, он пока не знает.

– Чьего ребенка? – не понял привратник.

– Моего, – раздраженный его непонятливостью, буркнул Василий, забрал телеграмму, отправился в почтовое отделение и продиктовал ответ: «Даст Бог – обязательно».

Ночью, вернувшись после дежурства под окнами палаты Анатолии, он обнаружил на пороге своей комнаты белесого, словно обсыпали мукой, вертлявого молодого человека, который, тыча ему в лицо металлической коробочкой с проводами, затараторил о беременности старухи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.